

Сергей Слободчиков

ВСЕ ПРОРОКИ ЛГУТ



DZR
2014

Сергей Слободчиков

Все пророки лгут

«Издательские решения»

Слободчиков С.

Все пророки лгут / С. Слободчиков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-935375-7

Дальний восток, 90-е годы прошлого века. В этом забытом Богом регионе процветает бандитизм и бродяжничество. Криминальные авторитеты подминают под себя все, что могут, в том числе милицию. Бомжи собираются на помойках, воруют, ищут еду и теплое место для ночлега. В этой среде борются за выживание двое бездомных.

ISBN 978-5-44-935375-7

© Слободчиков С.
© Издательские решения

Все пророки лгут

Сергей Слободчиков

*Я чувствую себя несчастным лишь по утрам,
Когда мне снится, будто я счастливый*

© Сергей Слободчиков, 2018

ISBN 978-5-4493-5375-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Плешь проснулся от шума проезжающей фуры, которая вихрем пронеслась по ночной дороге, поднимая в небо кучу сухих листьев и бумаги. Земля под ней натужно гудела и сотрясалась, шлейф удушливого дыма медленно оседал на темный асфальт, похожий на черную бесконечную реку. Пахло бензином, засохшими листьями и старыми, прелыми тряпками.

Разбуженный человек поискал в кармане зажигалку, перемотанную скотчем, осторожно чиркнул ей и закурил самокрутку. Едкий, сизый дым въедался в горло, хотелось пить. Странный сон запомнился только благодаря проезжающей фуре, которая разбудила его на самом интересном месте. Блаженно выпуская клубы дыма в воздух, он тонкой, худой, дрожащей рукой потянулся за бутылкой. Но та оказалась пуста. Было очень холодно и две старые телогрейки, образующие ложе под мостом, не спасали его. Тяжело вздохнув, он понял, что уже не уснет. Бутылка была для него сейчас подобна детской бутылочке с молоком, а ложе его – колыбели. И ему нужно было выпить для дальнейшего сна.

Рядом с ним стояло старое кресло, и призрачная ночная тень сидела в нем. Плешь уже начал завидовать мирному храпу соседа. Но он знал, что даже если сумеет уснуть, новый кошмар непременно приснится ему. Кошмары и просто странные, реальные как жизнь сны приходят целой серией, примерно раз в месяц, и не было от них никакого спасения. Два-три дня терпишь это безумие, а потом снова приходят обычные бессвязные сны, приносящие с собой покой и облегчение, возвращая его жизнь в обычную колею бродяги. Но кошмары пугали его не страшными драконами или мертвецами, они пугали его своей связностью, своей логичностью, своей глубиной, которую он чувствовал интуитивно, но не мог описать, объяснить и понять. В такие моменты его спасала от священного трепета и необъяснимого волнения обычная водка или спирт. И сейчас он ощущал себя так, будто проснулся от сильнейшей зубной боли, а лекарство закончилось и нужно ждать утра.

Докурив самокрутку и выплюнув ее остатки на бетон, он порылся в кармане старого замусоленного синего пиджака, надетого на нем, но табака больше не было. Газетная бумага, в которой он хранил свое зелье, пустовала. Тяжело вздыхая и охая, мужчина поднялся на ноги, осторожно взял с земли телогрейку и аккуратно, как ребенка, накрыл своего соседа, чье лицо, укутанное в темный саван, оставалось неподвижным как у мертвеца.

Тихо шаркая ногами по бетонным перекрытиям моста, он направился к остановке, там можно было разжиться табаком. Он привык собирать бычки, которые затем потрошил и таким образом получал отличное месиво с невероятным привкусом всевозможных сигарет мира. Когда бычков было много, он разделял табак на дорогой и дешевый, таким образом, у него почти всегда было два газетных свертка с импортным табаком и местным. Хороший табак шел на обмен как своеобразная валюта, более дешевый он предпочитал курить сам.

Едва Плешь спустился с бетонного наката на дорогу, город пахнул на него сыростью и ночной прохладой, тяжелые тучи тянулись по небу. Автобусная остановка стояла в ста метрах от моста, ее окружали высокие дома с темными окнами с одной стороны, и большие высот-

ные стройки с другой. На остановке в ожидании автобуса люди почти всегда курили и пили пиво, оставляя после себя кучу пустых бутылок и бычков. Рано-рано утром, когда все еще спят, бомжи соберут бутылки, поделят их между собой, а бычки оставят, там-то он и разживется табачком. Утром мало кто охотился за бычками, тут главное унести бутылки, пока кто другой не унес.

На остановке светил уличный фонарь, длинная тень человека вытянулась по всей мостовой, в свете фонаря различалось его высохшее лицо с тонкими линиями морщин, спутанные, длинные седые волосы, глубоко посаженные глаза и прямой нос. Ярко блестела его небольшая залысина на лбу, за что его видимо и прозвали – Плешь. Щеки от постоянного пьянства и тяжелой жизни походили на корку от апельсина. Синий пиджак смотрелся на нем нелепо и причудливо, так как был на два размера меньше нужного. Но в теле его еще чувствовалась сила, а значит, он был не так стар, как кажется.

Подходя к остановке, Плешь на всякий случай порылся в мусорном баке, вдруг там кто-то оставил бутылку или хотя бы кусок недоеденной шоколадки. Но урна была пуста, зато вокруг нее валялось множество бычков. Он сделал из них самокрутку и вновь закурил. Пока курил, думал, что бы и где украсть. А воровали он и такие, как он, часто. Воровали все, что плохо лежало, начиная от белья, которое заботливые домохозяйки вывешивали сушиться на улицу, и заканчивая взломами продуктовых магазинов и складов. Но они не были профессиональными ворами, (хотя конечно, встречались и такие), по большей части они брали еду, а не деньги, так как деньги сложнее украсть, тут нужен особый нор. Брали водку или таблетки, если встречалась аптека. Таблетки особенно ценили, ими можно было разбавлять дешевое пиво. Кто-то попрошайничал, кто-то отбирал у своих. Они часто дрались между собой, грызась как собаки за корку хлеба. За городом, конечно, немного лучше, если ты нашел себе достойный прикорм, там не так высока конкуренция, да и милиции нет. Гоняли их там только жители деревень и дачных поселков, а в награду им доставалась медь и цинк с крыш домов, иногда и теплый заброшенный дом. Те, кто промышлял в деревнях, больше походили на варваров Аттилы, совершая набеги на цивилизацию, дарующую свет. Словно саранча, словно гнев божий они добивали тех, кто изо дня в день латал, чинил, непосильно работал. Но, конечно, битва была не за царские гробницы.

Тут принято шутить и свои беды принимать с особым юмором, а все потому, что смерть была избавлением, и Плешь знал, что за самым громким смехом, за самой веселой шуткой прячется эта бесконечная усталость. Тут даже дерутся устало, и так же устало совокупляются. Тут не любят в привычном понимании слова, хотя встречается и удивительная любовь. Потому что любовь предпочитает настоящие испытания. Тут не страшно получить по морде, это совсем не больно, не обидно, это не пугает. Потому что каждый ждал своего часа, остервенело приближая себя к могиле собственными руками. И Плешь часто думал, есть ли люди на земле, которые упорно цепляются за жизнь, выползают из могилы, бегут от старости ради того, чтобы посмаковать еще несколько часов своего существования? И если такие бывают, что движет ими, неужели мягкая перина и пенсия, которую не унести с собой? Может, более дорогие сигареты и более дорогое пиво? Что может являться мотивом к жизни?

Картина кажется мрачной. Но на самом деле, все не так плохо. Эту картину не стоит утяжелять искусственно, потому что все самое ужасное ужасно лишь со стороны. Я не зря говорю об усталости, потому что настоящих страхов и кошмаров тут не было. Тут есть свой интерес жить, он будет понятен ниже.

Свернув еще три самокрутки про запас, Плевший вернулся обратно под мост. Его сосед успел проснуться и теперь с беспокойством птенца озирался по сторонам, высунув голову из своего гнезда. Понемногу светало, и в тусклом фиолетовом свете проглядывалось опухшее лицо, толстые губы, синева под глазами. Но все эти лохмотья, это кресло-каталка, укутанное телогрейками, этот черный саван, покрытый каким-то грибком, ничего не говорил о человеке,

сколько говорили его глаза. Глаза ребенка, покорные, глаза, которые принимали как должное всякую беду, всякое несчастье, всякое испытание. Такое выражение глаз свойственно многим доходягам, стыдящимся своей слабости перед миром, ведь когда-то они были инженерами или учителями. Конечно, не все, другие, бывает, цинизма наберутся такого, что даже на помойке будут чувствовать себя королями. Но этот человек был другой.

Плешь аккуратно снял с него покрывало. С черных нечесанных волос в небо поднялся пар. Вставив в дрожащие губы соседа самокрутку, он радостно сказал:

– Жрать подано!

Голос его отозвался глухим бетонным эхом. Вспыхнула зажигалка, и вспухлое лицо блаженно затянуло горький дым, задержало его во рту, радостно смакуя угощение, затем выдохнуло наружу.

Сразу за мостом начиналась низина, окутанная легким туманом. По краям моста росли небольшие деревья, но листья с них уже успели облететь, и они уныло пронзали небо черными ветками. Тут, среди голых деревьев, лежало несколько почерневших от копоти кирпичей, это был своеобразный очаг, кухня. На земле валялся картон и большое бревно, служившее скамьей, поросшее фиолетовым мхом. Плешь насобирал сухого хвороста и развел там небольшой костер, затем достал из-под бревна большую жестяную банку, здоровую бутылку приготовленной заранее воды, и все это поставил на огонь. Теперь предстояло сделать самое сложное: притащить сюда своего соседа, погреть у костра его больные ноги и выпить вместе с ним немного кипятку.

Он снова взобрался под мост, затем подошел к соседу и снял с его кресла все телогрейки. Показались большие колеса со спицами, перемотанные синей изоляцией, которая трепыхалась при каждом дуновении ветра. Схватившись за алюминиевые ручки, мужчина аккуратно принялся скатывать его в низину. Пока Плешь был занят этим нелегким трудом, инвалид в кресле откашлялся и спросил его:

– Опять тебе что-то снилось?

Стиснув зубы, Плешь катил кресло вниз, он лишь тихонько кивнул головой в знак согласия.

– Ты стонешь, пока кимаришь, – не унимался инвалид. – Как щенок. Я хотел встать и растолкать тебя...

После этих слов Плешь скривился.

– Я готов стонать в два раза громче, лишь бы ты встал и растолкал меня, – ответил он.

Эти слова были сказаны в шутку, но смысл их был отнюдь не шуточный. У Калеки были парализованы обе ноги. Он никогда никому не рассказывал, как и от чего это произошло, предпочитал отнекиваться, или говорить что-то бессвязное, если кто-то интересовался. Он не был калекой в прямом смысле этого слова, ибо не был покалечен, но его все равно называли Калекой. За много лет сидячего образа жизни он успел набрать вес, почки его работали плохо, оттого он постоянно опухал под утро. Но характер его был жизнерадостным, он любил шутить над собой и, казалось, никогда не унывал.

Плешь прикатил друга к костру, скинул с его ног покрывало и поставил кресло так, чтобы огонь согревал замерзшие конечности. Вода в банке кипела, от нее в небо поднимался густой пар. Мужчина достал из-под кресла Калеки два стакана и разлил в них горячую воду. Граненые стаканы сверху были замотаны синей изоляцией. Стекла их отдавали грязной желтизной.

Под креслом находился небольшой брезентовый рюкзак, надежно пришитый к его днищу. Кроме стаканов, там еще было множество всякой утвари.

В утренней тишине они тихонько пили кипяток и думали о том, что уже холодает и нужно снова искать место для зимовья. В прошлый раз они зимовали в специальной ночлежке. Не самое лучшее место на земле, но там было тепло и сухо, а если ты соблюдал все их странные правила, то тебя еще и кормили бесплатно, причем весьма неплохо. Тут надо объяснить,

откуда в эти тревожные годы появилась ночлежка. Все дело в том, что такие ночлежки создавались то там, то тут в качестве экспериментов на деньги из-за границы. Они легко открывались и также быстро закрывались. Все это было частью гуманитарной помощи, передаваемой нам по аналогии с Африкой.

Лафа закончилась, когда улица и ее темные героини подмяли ночлежку под себя. Еду давать перестали, а ночевка стала платной. Просили немного, конечно, но отчислять нужно, а денег постоянно не хватает. Официально ночлежка считалась бесплатной. Тех же, кто не ходил с зеками в корешах и не платил денег, выкидывали ночью на улицу. Другие уходили сами, потому что тут запрещали пить. Если выкидывали летом, это не страшно, но вот зимы здесь очень холодные и в двадцатиградусный мороз при большой влажности на улице ночью и вообще можно пропасть. Они искали место ночевки еще с начала осени, но пока на примете был лишь колодец возле теплотрассы да старый крытый шифером чердак. На чердаке располагались большие кирпичные трубы, так как при доме работала кочегарка. Если сделать себе ложе подле трубы, зимней ночью не замерзнешь, но с такого чердака тяжело делать вылазки за едой. Если кто заметит бомжей на чердаке, то сразу вызовут милицию, а двери запечатают намертво.

Когда кипятик закончился, показалось робкое осеннее солнце, которое едва согревало озябшие тела двух бродяг. Спрятав стаканы под кресло, Плешь затушил костер, затем схватил Калеку и медленно повез его на работу. Колеса тоскливо поскрипывали в сонных улицах города.

Калека был профессиональным попрошайкой. Его любимым местом работы было кладбище, находившееся недалеко от моста. Туда раз в неделю стекался народ, чтобы помянуть своих близких, среди могил и криков воронья люди забывали про жадность; наполняясь священным трепетом, они щедро одаривали попрошаек. Если ты просишь в инвалидном кресле, тебе завидуют все уличные проститутки, коллеги по работе, лентяи и ворьята, которых иногда называли «крадунами». Последние особенно любили Калеку, он давал им щедрые откаты за прибыльное место. Но по-настоящему он любил тут работать вовсе не из-за денег, его успокаивала тишина этих мест, он как паук выпивал странные эмоции из заплаканных лиц. Помнил все их наизусть, хорошо знал, кто плачет притворно, кто не в силах себя побороть, а кто хранит горе с лицом каменного исполина.

Раз в неделю рядом с кладбищем расцветало сотни странных цветов, от живых роз до искусственных, холодных тюльпанов. Бабки продавали цветы, десятки микроавтобусов стояли рядом с деревянными лотками. К вечеру цветы стоили в три раза дешевле начальной цены. Живые цветы сохли вместе с теми, кому они были посвящены.

Ходили сюда панки, чьи длинные, разноцветные гребни раздражали даже бомжей. Их гоняли сторожа, бабки и милиция, но мертвое, спокойное место манило к себе многих с беспокойной душой.

Плешь привез своего друга к чугунной, литой кладбищенской калитке, обернул его покрывалом и закурил напоследок, угрюмо осматривая кладбище. Деревья стояли без листьев, поздний октябрь никого не щадил. Дворник-киргиз поприветствовал попрошаек легким жестом руки. Скоро сюда пойдут люди навещать своих мертвецов.

Оставив своего друга одного, Плешь отправился на рынок, там можно было найти немного еды, а если повезет, и денег. Но пошел он туда не прямой и самой быстрой дорогой, а долго плутал по знакомым ему с детства улочкам и переулкам. По лабиринтам Минотавра, ища спасения от Миноса воспоминаний. Ему становилось тревожно на душе из-за быстро наступающих холодов, из-за поиска теплого места, в котором можно было бы спрятаться до весны. Отчего нельзя уснуть подобно белому амуру или толстолобику, которые зимуют стаей, покрывшись мутной слизью, чтобы в холодной, темной воде забыть обо всем, что было

и не было. Он завидовал животным, хорошо приспособленным к холоду мира, да так, чтобы ничто не могло нарушить их покой. Слен казался ему сказочным покрывалом, мембраной, броней. Думая об этом, он случайно забрел в район, где стояла кирпичная школа, заполненная его воспоминаниями.

Она стояла особняком в стороне от жилых домов, вокруг нее находились болота, разваленная после перестройки теплица, разворованные гаражи и брошенный тир. В этом тире он когда-то мечтал украсть мелкашку, чтобы ощутить себя воином, ощутить дух мужества, о котором ему шептали прочитанные книги. Через ее деревянный приклад, через ее железный ствол прикоснуться к убийству, которое было возмездием антигерою. А в гаражах вместе с друзьями он как-то поджег школьный автомобиль. И тут, на стадионе, жгли пионерские костры, которые походили на средневековые Аутодафе. Какой-то дикий атавизм. Исступленная пиромания.

Тут на болоте, как-то по осени, когда вся трава усохла, а листья с деревьев успели облететь, он случайно увидел странное, огромного размера насекомое, которое вылезло на свет божий из какой-то дыры. Тогда он еще не знал, что это был клоп с огромными как у рака лапами. Насекомое напугало и впечатлило его одновременно так сильно, что всю жизнь оно не давало ему покоя в своих снах. Страшное насекомое поджидало его в каждой дыре, в каждой яме, отвратительно шевеля своими закрылками.

В теплицу как-то принесли ящик перфокарт от первых компьютеров, и он, думая, что это пистоны, пытался высечь из них искры.

В сухой листве, в карманах школы они играли с ребятами в прятки. Зарывались в нее, и кричали от восторга, когда находили друг друга. Большие тополя шумели в лучах осеннего солнца, а мир был полон прекрасных ежедневных открытий. Он хорошо помнил то странное томление, когда живешь с ощущением ожидания большой, длинной, чудной жизни. Как взгляд его еще не замечал знаков судьбы, как мозг его отказывался верить в реальность, искажая ее, фонтанируя мечтами и грезами молодости.

Он сменил три школы, и в каждую мечтал вернуться, спрятаться от жизни в ее холодной, ночной утробе. Ночью пустые коридоры школы заполняют призраки его воспоминаний, он бы играл с ними, бегая из класса в класс, пока его не заберут в психушку. Он бы сжег все учебники и сломал бы все столы, лишь бы отомстить школе за те эмоциональные страдания, которые причиняла ему его память. Как же он ее ненавидел, всех этих учителей и все знания мира, которые они ему предлагали. Сколько бы он отдал, лишь бы не знать ничего из того, чему его учили, и сколько бы отдал, лишь бы снова сидеть в классе с друзьями, ощущая свою стадность. Постыдно быть в стаде лишь тому, кто не выходил из него, и не ведает жизни вне стада. Не ведает ее горестей и бед, которые ты должен стойко переносить в одиночестве.

Ненависть к учителям переросла в ненависть ко всякому знанию, любовь же к стадности, тоска по ушедшим в черную тьму прошлого товарищам переросла в любовь к людям. Не ту великую любовь, воспетую в книгах с папиросной бумаги, скорее, извращенную, зараженную ненавистью и грубостью, но любовь.

Школа продолжала работать. Сейчас, видимо, шли уроки и детей на улице не было. Только старая женщина стояла у входа, надевая шапку на свое дите и ругая его. Обернувшись, она увидела бездомного. Лицо ее скривилось в гримасе, хищно блеснули коронки зубов:

– Что тебе тут надо?! – рявкнула она на него.

Плешь стоял как вкопанный, вспоминая, как давно, много лет назад, родная мать кутала его в теплые вещи. Он так же, как этот мальчуган пытался избежать ее заботы, избежать ее ласки, которая была ему отвратительна и неестественна уже с детства, но это не означало, что он не любил свою уставшую от непосильной работы мать. И чем более заворожено он смотрел на школу, тем больше беспокоилась женщина.

– Смотри, – сказала она, тыкая пальцем на бомжа. – Не будешь учиться, будешь таким же.

Ее сын свысока посмотрел на бомжа и усмехнулся, он был уверен, что сия чаша минует его, но будучи ребенком, он еще не испытывал отвращения к бомжу, лишь естественный, спокойный интерес. Молодой ум пытался создать систему наказаний и поощрений, чтобы определить, что мог сделать этот бомж такого, чтобы стать бомжом. Интуитивно он не верил матери, что двойки по математике могут привести к такому результату, но покорился ее голосу.

Из-за дверей показался отец мальчугана, рослый крепкий мужчина с усами. Плешь решил не раздражать их; делая вид, что всего лишь ищет бутылки, он пошел гулять дальше.

Но тоска не отпускала его, что-то тяжелое давило на сердце, мешая дышать.

Обогнув школу, Плешь оказался в ее пустынном, каменном кармане. Пустые окна печально смотрели на него, зарешеченные сеткой из толстых прутьев в виде полукруга солнца и его лучей. Эти решетки указывали ему его место. Он был на той стороне жизни, а дети на другой. Они отделены ярким солнцем решетки. По эту сторону он, а по ту – пестрая яркая радуга, состоящая из множества детских лиц, их еще мелких горестей, но невероятно больших радостей. Казалось, что между миром детства и его существованием есть волшебный насос, который детям перекачивает радость, а ему отдает их горе. Потому с возрастом горе весит все больше, а радость все меньше.

Тут Плешь поднял с земли тяжелый кусок черного асфальта, выбрал окно с белыми школьными занавесками, за которым зияла лишь пустота, и со всего размаха запустил в него. Раздался звон стекла, которое осколками рассыпалась по бетонной площадке. В каждом осколке отражалось синее небо, облака, и Плешь, увидев свое сухое, небритое лицо в одном из них, громко рассмеялся. Ему казалось, что его ум также разбит и расколот на части, каждое воспоминание живет само по себе в крошечном мире осколка. В одном осколке его пионерский костер, в другом отдельно существует его рождение, в третьем лишь пустота.

– Сволочь! – несло ему вслед.

Это не самое грубое слово, которым его называют. От этого слова он даже получил какое-то удовольствие, как будто, кто-то сказал ему:

– Спасибо.

Значит, его заметили. Пусть не поняли, но хотя бы заметили, и думы его от этого стали легче.

Любопытные дети прильнули к окнам в своих классах, чтобы разглядеть нарушителя их спокойствия, это странное явление обрадовало их. Но Плешь не дал себя долго рассматривать, он уже бежал в сторону рынка. Только после этого странного поступка тоска его немного улеглась, и он смог думать о хлебе насущном.

Хабаровский продовольственный рынок находился в самом центре города, который стоял на трех холмах, растянувшись вдоль реки Амур, чьи изгибы серпантинном бежали по Дальнему Востоку, омывая берега Китая, России и Монголии. Ее называли «Черная река», как будто она несла в своих холодных глубинах тьму.

Все три холма образовывали центр города, а рынок находился в самой низине между холмами. Из-за этих холмов зимой выходили интересные казусы с автобусами «Лиаз» которые являлись основным транспортным средством в городе. Дорога замерзала, и чтобы подняться на холм, людей с него высаживали в низине, затем пустой автобус тяжело и натужно взбирался наверх и там уже ждал своих пассажиров. В низине проходили трамвайные пути, тут же стоял центральный дом профсоюзов, в котором также находился маленький рынок, но там торговали радиодетальями, книгами и животными. Рядом собирались цыгане и старые бабки, торговавшие уценёнными товарами, многие из которых были списаны, или их срок хранения подходил к концу.

Они стояли на холоде, кутаясь в шубы и шерстяные платки, вместо прилавков использовали обычные картонные ящики, лежащие на земле, которые с горкой были набиты шоколадом, колбасой, маслом и сыром. Стоило сюда заглянуть милиции, как все бабки, «охая» и «ахая» прятали ящики под себя, делая вид, что это скамейка, или вовсе убежали с ними за дом культуры. Цыгане, всегда первыми завидев милицию, спасались бегством на другой конец рынка. Так они кочевали по рынку в течение дня, торгуя пакетами китайской жвачки и эфедрином, гадая людям по руке и предсказывая будущее. Эти жвачки любили воровать дети, подрезая ножиком сумки цыган, чтобы потом поднимать с грязной земли цветные фантики. Цыгане не особо переживали за жвачку, скорее всего, продавали ее для вида. Конечно, радовались, если ее покупали, но был и другой, более важный товар.

Они носили яркие, вычурные одежды, явно не пригодные для повседневной работы, женщины надевали по три юбки красного цвета и платья с длинными рукавами, а мужики как один носили кожаные жилетки. Когда выпадал снег, цыгане покидали рынок и с первой оттепелью снова появлялись тут. По сути, они были предвестниками холодов и предвестниками тепла. Их цветные платья со всевозможными оттенками лета и приносили с собой воспоминания о теплых днях, намекая о радуге, но характер практичный и меркантильный погружает нас в холод.

У цыганских мужчин низшего пошиба вечно не хватало зубов, они попрошайничали более грубо, нежели их жены. Они не просто просили, они требовали, обещая взамен цыганское покровительство. Но последнее было ложью. Те, у кого благодаря героину не было зубов, не могли оказать защиты или покровительства, они были на самом дне и могли напугать разве что совсем далекого от этой жизни человека. У них даже не было сил ударить ножом, потому что они боялись всякого злого взгляда или шепота. Это были живые рыночные мертвецы, заросшие черными волосами подобно Джоконде или Мадонне. Только черные вьющиеся волосы их были грязными и неухоженными.

Далее находился официальный открытый рынок, тут томились, прижавшись друг к другу, тысячи палаток с дешевыми украшениями, магнитофонными кассетами, зажигалками, фонариками, ручками и прочей ерундой из Китая. Чуть повыше начинались мясные ряды, и десятки собак дежурили тут, выклянчивая у покупателей кости и мясо. Собаки эти были жирными и важными, они становились ловкими лишь когда следовало прогнать чужака. Но и тут все было непросто, пока одни собаки охотились за лучшим куском, кто-то охотился за ними. За рынком тоже находилось множество собак, но те были более тощими и забитыми, по ночам они сбивались в стаю, и во тьме бродили вокруг рынка, пугая прохожих.

В центре этого бедлама находился крытый рынок, в котором всегда было тепло и шумно. Тут торговали фруктами и овощами, колбасами и сырами, молоком, простоквашей и варенцом, который продавали прямо в стаканах как обычный сок или лимонад. Варенец в стаканах – особая традиция этого города, ничего подобного более нигде не встречалось. Высокий потолок, как в цирке, придавал этому месту схожесть с кафедральным собором. Громкие звуки эхом разлетались под его куполом, подобно молитве они вводили в религиозный транс. Смешение культур и наций в одном месте. Наверное, на рынке, где голодный становится сытым, в водовороте разных верований и предрассудков однажды зародится новое учение. Ругань, жадность, конкуренция, все слои населения, множество странных эмоций – под одним куполом. Всевозможные запахи пряностей, вонь гниющего мяса и фруктов дополняла картину.

Тому, кто пришел сюда купить домой крупы или мяса, казалось, что тут есть только торговцы и покупатели, но это было не так. С цыганами и нелегальными бабками все было понятно, но кроме них тут собирались картежники, наперсточники, разводилы, бандиты, беспредельщики, хачи, китайцы, корейцы, менты, аферисты всех мастей и видов, блатные, проститутки, бизнесмены, кришнаиты, бомжи, бездомные, алкаши и доходяги. Последние работали по принципу «принеси-подай». Они грузили мешки, убирали говно и, конечно, воровали. Каждый армянин считал своим долгом иметь русскую продавщицу из дворовых, местных девчо-

нок, глупую, но циничную, а также русского грузчика из местных алкашей. Последний шестерил за своим хозяином повсюду, ездил с ним на оптовый рынок, грузил, таскал, редко даже приторговывал, но чаще воровал. Украдет мешок муки, загрузит своему армянину в багажник – получит пятак. Армянин доволен, хвалит грузчика. А если поймают мужика за воровством – дадут в морду и тут же бегут к хозяину, а армянин делает вид, что ничего не знал об этом и тоже лупит бедолагу. Многие из этих грузчиков ночевали сразу подле рынка, за его высокими контейнерами с товаром, куда приносили кучу картонных коробок, делали из них постель, делили между собой спирт и еду и бесконечно дрались. Малышня также шла подрабатывать к армянам. Армяне вечером взвешивали гнилые фрукты, которые успели пропасть под жарким летним солнцем, цокали языком и отдавали их своим работникам.

Тут на толкучке ворята сбывали краденое через своих размалеванных шмар. Тут карманники пасли старух, а менты – карманников. И только бомжи никого не боялись, свободные от дел и предрассудков, они сновали между рядами в поисках работы или объедков. Непроданные за день фрукты и овощи, которые начали подгнивать, иногда доставались им.

Старухи собирали бутылки и сдавали их. Бутылки – это валюта, такая же, как деньги, и за нее так же беспощадно дерутся. Пьют на рынке много, значит тут много бутылок. Когда дерутся бездомные старухи, это всегда развлечение для толпы, потому что они дурно пахнут и плохо одеты. Не дай бог драться старухам, которые хорошо одеты, их всегда разнимут, а к этим брезгливо подходить.

Человеческая брезгливость это способ защиты, Плешь видел, как алкаши ссались в штаны, лишь бы жены и менты не трогали их.

В ДК рядом с рынком была своя толкучка, радиорынок притягивал интеллигентов с испуганными глазами и дрожащими руками, только иногда они дрожали не от страха, а в предвкушении наживы. Тут же проводили свои лекции кришнаиты, иеговисты и более эксцентричные секты, собирая вокруг себя всех людей нервных, тревожных, ищущих. Большинство из них были женщины, но редко попадались и мужчины. Над ними смеялись, над ними глумились, воровская молодежь откровенно издевалась над их одиночеством, интеллигенты презрительно говорили: «Эти». Но Плешь, однажды заглянув в глаза одной женщине, увидел в них такую сильную тревогу, что сразу понял, отчего они готовы продать квартиру и идти хоть за чертом на край света. Тогда он почти физически ощутил ее горе, которое крылось в ней самой, горе, у которого нет причины. А где нет причины, нет и лекарства, ей просто было больно жить, и она металась из одной секты в другую, ища себе успокоение. Такие проходят весь путь от эзотерики до монашества.

Над рынком вилась легкая дымка, словно рынок дышал как живой. Горесть и радость здесь смешались в одно целое. Где дрались, там и братались. Плешь не любил это место, но тут можно было легко найти себе пропитание.

Он прошел сквозь пеструю толпу цыган и нырнул в толпу обывателей, брезгливо расступившихся перед ним как перед царем, царем помоек и больших просторов. Продавцы, привыкшие к таким людям, казалось, даже не замечали его. Очень быстро он оказался возле склада контейнеров, где тусовались бывшие зеки и бомжи рынка. Первые были почти неотличимы от вторых.

Далее я буду стараться находить компромисс между человеческим языком и местным жаргоном. Без первого – речи могут быть непонятны или по крайней мере тяжелы для восприятия, а без второго – картина была бы неполной. Пусть вас не смущают незнакомые слова и странные выражения. С другой стороны, если вы знакомы с улицей, пусть вас не смущает то, как я пытаюсь преднамеренно облагородить речь, балансирую между двумя мирами, ища нужный образ.

– Нарисовался, – раздался голос Майорки, бывшего уголовника, а ныне бездомного.

Хотя бездомный бездомному рознь, это еще предстоит понять. Не будем забывать, что воры в то время еще любили притворяться бездомными, имея порой неплохие хоромы. Причина этого явления крылась вовсе не в желании прибедняться, а в сущей необходимости поддержания собственного авторитета босяка.

Майорку знала тут каждая собака, это был наглый тщедушный малый с бегающими глазами, длинными руками и сопровождающим его по жизни кашлем. Лицо его было испещрено мелкими и крупными шрамами, которые можно было читать как книгу прошлых лет. Еще одной книгой было его собственное жилистое, сухое тело, изрисованное наколками.

Майорка много и часто сидел, но всегда, как птица возвращается в родные края, он возвращался на этот рынок. У него не было многих зубов – их заменяли протезы, все руки исколоты перстнями. Глаза его светились холодным спокойным светом, морщины же у кромки глаз говорили о том, что он любит улыбаться. Но улыбка его была ироничной и злой, она не сулила ничего хорошего людям. Она не освещала его лицо, а лишь придавала демонический вид.

Для порядка они приветствовали друг друга,

– Мать продашь или в жопу дашь? – громогласно, по-хозяйски воскликнул зек.

– Мать не продается, жопа не дается, – более скромно отвечал Плешивый.

Нелепый разговор, как ритуал. Так собаки нюхают друг друга для определения, кто есть кто.

– Опять в долг? – спросил он, криво улыбаясь.

– У меня нету ничего с собой, я заработаю и отдам, – сказал Плешь.

– Брателло, доставай бухгалтерию, чиркани должок, – сказал он своему приятелю. –

Скоро счетчик включу.

Это означало, что сегодня Плешь может работать и воровать в долг, но на общак рано или поздно придется скидываться. На прощанье он отсыпал Майорке немного лучшего своего табаку. После этого разговора все окрестные бомжи приветствовали его, угрюмо кивая своими головами. Кто-то подбежал и спросил спирта, немного, всего полстакана, но спирта не было.

Плешь долго ныкался по рынку в поисках работы, искал хотя бы жалкую луковицу, чтобы утолить голод, но ему не везло. Бывало, что он отбирал корм у голубей, например, сухую корку хлеба, брошенную сердобольной бабушкой. Бывало, что кормился у корешей, которым удача улыбнулась в этот день. А бывало, что удача улыбалась ему, и тогда он кормил кого-то за компанию. У него, как у всякого доходяги на рынке, были любимые киоски, где его знали и могли дать мелкую работу, но один из киосков был закрыт, а в другом помощь не требовалась.

В унынии присел он рядом со входом в крытый рынок и принялся разглядывать ноги прохожих. Внутри таких как он не пускала разжиревшая охрана, зато на него дул из открытых отделанных алюминием дверей теплый воздух. Он медленно согревался, разминая свои конечности. Какой-то мальчишка – молодой вор, нахально щелкал семечки под ноги прохожим, молочник тащил тяжелый бидон, охранник сжимал в руках кожаную, но пустую кобуру. Каждый пройдоха знал, что нету у охранников оружия, кобура для страха, для соленого огурца или колбасы на обед. Дело в том, что в то время еще не было понятия «профессиональная охрана», они еще числились как сторожа, лишь позднее появятся бесконечные охранные фирмы. А пока это было не в моде. Основную функцию охраны выполняла братва, которая сама же и крышевала каждый киоск, каждый магазин, каждого продавца.

Плешь услышал крик ребенка, который среди этого Вавилона показался ему призрачным звуком с того света. Этот пронзительный шум привлек внимание и молодого воренка, который тут же вскочил на ноги, засунул семки в карман и куда-то побежал, мелькая синими штанами. Плешь тоже привстал и медленно отправился в сторону шума. Чуть ниже крытого рынка, в толкучке, молодое бакланье тащило упирающего мальчишку за контейнеры. Шапка его слетела на землю, но какой-то малолетка поднял ее. Молодая мамаша возмутилась происходящему, однако старшой, что тащил папаненка за руку, соврал, что тот украл у него кошелек.

Охрана с любопытством рассматривала эту сцену, они уже привыкли к ежедневной рыночной драме. Скорее всего снимут с пацана все ценное да отпустят на волю, если будет бычить – дадут в хлеборезку. Не убьют – и ладно. Будет ему урок, не гулять на рынке одному. Продавцы также не обращали на это внимания, какое им было дело до чужого горя. В целом, множество молодняка стекалось сюда, чтобы заниматься разводом таких вот домашних мальчиков, которым случалось забрести на рынок. Где угрожая ножом по беспределу, где грубым уличным словом и волей добивались они своего.

Плешь осторожно пошел за малолетней братвой. Контейнеров тут было немало, и не везде паслись бомжи и зеки. Кое-где было совсем тихо и безлюдно, сюда и потащил молодняк свою жертву. Плешь осторожно крался за ними, он не спешил вмешиваться, встал поодаль от контейнера и внимательно следил за происходящим.

Пацаненку было лет двенадцать, одет он был не богато, но вполне ухожено. Китайская ветровка свисала на худом теле, белобрысые волосы стояли ежиком. Он был на голову ниже самого старшего обидчика. Еще двое детей были его возраста, они стояли по бокам, готовые ринуться с флангов. Говорил только старшой. Плешь знал этого пацана, его звали Капеля, кличка-производное от фамилии, как часто бывает. Капеля был сыном весьма жестокого и сумасбродного алкаша, которого очень сильно не любила милиция, так как без боя он не сдавался. Капеле было уже четырнадцать, он тоже был худощавым, кожа его была темной, отчего он сам походил на цыгана, но таковым не являлся. Лысая голова была усеяна шрамами, по большей части, оставленными собственным отцом, хотя он и врал, что это все драки и разборки с залетными. Капеля блокировал единственный проход между гаражами, и полилась знакомая песня.

– С какого района?

– С южного, – отвечал юнец, понимая, что бежать некуда, и никто ему не поможет.

– Общаешься?

Жертва отрицательно помотала головой.

– Зря. Сейчас такое время, надо общаться.

Плешь уже по опыту знал, что просто так его не будут грабить или бить, настоящему джентльмену нужен повод, и он его найдет. Нельзя было даже ощупать карманы жертвы, ведь за это может быть спрос, да и не комильфо, запахло без повода. Если жертва окажется совсем не жертвой, а своим, может быть и спрос за это. Потому сначала надо было прощупать незнакомца.

– А что убежал, когда я тебя звал? – спросил Капеля, сохраняя идеально каменное лицо и внутренне радуясь своей силе. Дети жестоки потому, что хотят походить на взрослых, и в этой страшной комичности они даже превосходят последних.

– Я же не знал, кто вы и зачем меня зовете.

– Убегать нельзя, не по-босычьи это. Я тебя позвал, ты не подошел, значит, не проявил уважение к пацану. За это спрос с тебя.

Мальчик кивнул головой в знак согласия. Он еще не понимал, что такое спрос.

– Ну, готов? – ухмыльнулся Капеля.

– К чему? – не понял мальчик.

Капеля со всего размаха заехал ему в лицо. Ребенок без шума завалился на бок, его тут же под руки поймала малышня.

– Черт, – прошипел сквозь зубы Капеля. – Просто черт, не общается он. Смотрите, что у него в карманах.

Его помощники бросились к поверженному телу, чтобы порыться в его карманах. Должно быть, так же тигр ест еще дышащую кабаргу. Все это дела природы, не более того. Малышня рылась в карманах, пока их жертва руками утирала лицо, будто ощупывая его целостность

и удивляясь своему пониманию того, что его собственная плоть несет в себе столько слабости и боли. Ощупывая будто чужое тело.

Тут Плешь решил вмешаться, не выдержал. Он подошел к пацанам, посмотрел в глаза старшему. Старшой от неожиданности попятился назад, но потом смекнул, что это Плешь, которого он хорошо знал. Его помощники заметили невольный жест отступления у Капели и с тревогой заглянули ему в глаза. Но он уже был готов к битве.

– Тебя сюда не звали, – грубо произнес он.

Плешь молча смотрела в глаза Капели.

– Жалко, что ли? – сообразил старшой и криво улыбнулся.

– Дело есть, подойди, – сказал Плешь.

– Какие у пацана могут быть дела с тобой? – не выдержал Капеля. – Проваливай, пока сам не отхватил. Или говори при всех, ко мне не подходи, вдруг ты тифозный.

– Сам ты тифозный, подонок, – Плешь в знак презрения плюнул под ноги своему оппоненту. Это было тяжелым оскорблением и вызовом одновременно. Священный, сакральный жест, о котором можно судить лишь изнутри.

– Ну, сука! – прошипел Капеля, подражая своему отцу, который так называл в основном милиционеров.

Он тихонько подмигнул пацанам. Хотя бомжей никто не боялся, но мальчику было всего четырнадцать, а Плешь был в два, а то и в три раза старше него. Такого так просто не завалишь. С бомжей и спроса нет, старшим не пожалуешься – засмеют еще, ответственным за рынок нет никакого дела до бродяг, если, конечно, он не имеет каких-то особых заслуг перед ворами. У Капели сидел дядя, сидел брат, сидел алкаш-отец. Его воры уважали и пророчили ему большую карьеру, но сам он еще не был вором, так – крадунок. Нужно быть осторожным, чтобы перед братвой не упасть в грязь лицом, не потерять авторитет.

– Ты не идиот, – улыбнулся Капеля, стараясь выиграть время. – С головой все в порядке? Я тебя много раз тут видел, побираешься среди палаток, роешься в мусоре как собака, спишь в канаве.

– А я тебя тоже много раз видел, – заговорил Плешь. – И всю твою свору знаю. И отца твоего знаю, он сидел со мной, срок мотал, шерстяным был.

– А ты это ему в глаза скажи! – возмутился мальчик.

– Не скажу, он у тебя баклан, правды не ищет, ему лишь бы ввязаться в драку, да бардак устраивать. Ему все твои понятия до фонаря, он только воров боится. Чем он может напугать такого как я? Кулаками разве? Впрочем, мне тоже твои понятия до фонаря, думаешь, большого счастья хлебнул батя, сидя в вонючей камере? Следом за ним отправилшься, еще непонятно, как тебя на малолетку не забрали.

– Зато мой батя никогда нигде ни на кого не работал. И не побирался как ты.

– Запомни, еще пять лет твоему бате сроку, и он будет побираться, если раньше коньки не отбросит. Сила-то не вечно будет с ним, он уже дряхлеет. А ты по его стопам пойдешь.

– Козел! – прошипел Капеля.

Удивительно, в этом мире козлов развивалась настоящая трагедия. Конечно, слово «козел» – страшное оскорбление. Грубо говоря, оно вычеркивает человека из мира преступного в унижительной форме в мир потусторонний, в мир предателей, и, если так можно выразиться – в мир коллаборационистов. Это как плевок под ноги, очень сильный символ и призыв к немедленному действию. Козлов не любили, их всячески унижали, их били, их разводили, тем они и множили свою трагедию. Но настоящая ирония трагедии заключалась в том, что само слово «трагедия» родом из Греции, и дословно означало «песнь козлов». Судьба человека с таким статусом трагична, потом он должен был ответить за себя, чтобы его не сделали козлом.

И пусть вас не смущает, что так много «зоновских» понятий звучало вне зоны. Дело в том, что в это время зона была в моде. Всякий пацан учился говорить на блатном языке, часто

не до конца понимая и вникая во все хитрости дела, а порой и вовсе путая понятия. Причина, скорее всего, крылась в «общаковцах» где люди со стажем толковали молодежи тюремные идеи и понятия, подгрывая под себя молодежь.

Пока они говорили, более молодая шпана обошла бомжа со спины, один из них присел ему под ноги, и только после этого Капелья со всего размаха руками толкнул обидчика в грудь. Плешь споткнулся о ребенка позади себя и завалился на спину. Последнее, что он услышал, это крик Капельи:

– Пинай его, чего встали!

Бить руками бомжа запахло. Пинали ногами. Не сильно, все-таки дети еще. Под этот шум их жертва – молодой мальчик тихонько сбежал с поля боя. И свою миссию Плешь выполнил, остальное было неважно. Он пытался подняться на ноги, но каждый раз его снова валили на землю, это могло бы продолжаться до бесконечности, если бы в это дело не вмешалась милиция. Их уазик как раз ехал на толкучку и увидел среди контейнеров возню.

Толстый, усатый сержант знал тут каждого и на каждого мог завести дело. Вся окрестная шваль в свою очередь знала этого продажного мента. Без его ведома тут не совершалась ни одна сделка, его знала толкучка, цыгане, бабки, бомжи и вся администрация рынка. Несмотря на свое низкое звание, он имел огромный вес в преступном мире. Высокие чины не будут сами марать руки, все майоры, генералы, полковники – чистоплюи, потому такие толковые, хваткие и продажные люди как сержант всегда были кстати, тем более, что уличная шваль насколько ненавидела его, настолько же и боялась. Его толстые щеки, покрытые оспинами, его кобура и большое пивное брюхо вызывало у них страх, а вместе с ним и уважение к закону. Закону силы. И он контролировал отбросы, истинный фараон улиц. Посредник между чернью и высшим светом. Почти ангел, так как его работа была подобна работе ангела: из высшего света он нес послание в низшие миры. Причем порой он работал за многих ангелов сразу, неся в народ то глас Божий, то кару Божию. Помощники его, такие же сержанты, как и он сам, или даже рядовые постоянно сменяли друг друга, а он всегда оставался при деле, что говорило о том, что он обладает изрядным чутьем. Ему было выгодно оставаться сержантом, возможно, даже выгодней, чем генералу быть генералом. При этом нервничать ему приходилось меньше, чем высшим чинам, а зарабатывал он явно выше положенного, но о зарплате предпочитал помалкивать. Даже одевался он серо и неброско, и жил в обычной квартире, а не в царских хоромы, но, безусловно, был богат. Богат и почти всесилен. Да и пожрать любил, отчего морда была соответствующая.

– Борисочка идет, – шептались цыгане, разглядывая мента.

– Дорогу Борисочке, – шептались торговцы.

– Борисочка – котик, – называли его проститутки, которые знали, кому платят их коты.

– Нарисовался, козел! – процедил сквозь зубы тощий Майорка – он предпочитал не встречаться с сержантом и потому спрятался в тень, прикрыв лицо кепкой. Удивительно, как ушлые люди умели становиться фантастически невидимыми, благодаря свойственному им спокойствию духа.

Борис любил, когда его звали Борисочка, он всегда брал взятки со словами: «а это для Борисочки», но страшно не любил, когда его звали ментом, ментярой, мусором или даже мусорком.

Мальшня нерешительно отступила перед ним на пару шагов назад. Плешь медленно поднялся с земли, вытирая разбитую губу. Он виновато уставился в карие, алчущие крови глаза сержанта.

– Такую рвань, как ты, – сказал мент. – Даже в уазик противно сажать. Что тут не поделили? Что за бардак устроили?

Капелья пожал плечами.

– Хотите драк, валите с рынка! Я вам сколько раз говорил? Каждому нужно на ушко прошептать и конфетку дать? Уроды. Ты, плешивый, пойдешь со мной, а тебя, Капеля, я однажды закрою, как твоего батю. Лично буду за тебя хлопотать.

Пацана задели эти слова, и он набрался наглости, что спросить,

– Ты меня, что ли, посадишь?

– Посадит прокурор, – без злобы, спокойно бросил сержант заученную и совсем не оригинальную фразу, которая, однако, была своеобразной традицией для завершения разговора. – Забирай свою шпану, и валите с глаз моих. Если администрация пожалуется, запрю в обезьянник на три дня вместе с этим плешивым доходягой. Будете мочу нюхать у парашаи.

Это был весьма убедительный аргумент, Капеля предпочел не спорить с ментом, а вот Плешивому повезло меньше. Его посадили в бобик и увезли с собой. Впрочем, Плесь привык к таким поворотам судьбы, наверное, на сутки за драку запрут его в обезьяннике, затем выкинут на улицу. Не привыкать.

Вечером Калека всегда ждал возвращения своего друга. Бывало, что Плесь сильно задерживался, но почти всегда возвращался за ним, брал его коляску за ручки и вез на ночевку. Те, кто знал эту парочку, были твердо уверены, что они братья, или как минимум родственники, потому что обычный человек никогда не будет просто так заботиться об инвалиде. Калека не пытался опровергнуть эти слухи, но и не подтверждал их, он старался вообще говорить о чем угодно, но только не о личном, только не о себе. Поскольку он всегда улыбался людям, был с ними добр и учтив, многие думали, что он умалишенный или блаженный. Но если случалось кому-то ненавидеть его, то они говорили, – дебил, идиот, олигофрен и т. п. Говорили – какие наглые инвалиды, потеряй ты ногу или руку и вот, тебе уже принадлежит весь мир; как люди любят пользоваться слабостями, трансформируя их в силу. Силу влияния.

Вечером к Калеке подошли бандиты, все как один в китайских дешевых кепках, носы сломаны, зубы выбиты, забрали свою долю, поинтересовались, как поживает его кореш, как дела, как здоровьице.

– Плесь-то? Плесь-то в порядке, годик еще продержится, – улыбался инвалид.

Быстро темнело. Бабушки засобирались домой, их хозяева погрузили цветы в фургоны, позакрывали свои лавки. Многие из них прощались с Калекой, которого по-своему любили, а может, просто привыкли к нему. Одна из них, которую звали бабой Зиной, или просто Зинка, подошла к нему и спросила,

– А ты чего, гнилые твои мозги, так и будешь тут загорать? Чай не Канары тут, где твоего брата черти носят?

– Задержался, – отвечал Калека. – А мне выпить охота, в горле пересохло, не поможешь?

Зинка быстро оценила ситуацию. Надо сказать, что это была тощая, высохшая старуха, одетая в какое-то советское пальто и с цветным платком на голове. Но Зинку знали тут все, когда-то она торговала в киоске у армян, но там ее поймали на том, что она тайком продавала спирт доходягам, за что ее избili и выгнали с работы. Она быстро нашла себе место в цветочном бизнесе, где точно так же приторговывала спиртом, но жизнь научила ее делиться, и на этот раз все пошло куда веселей. Она была прожженной бестией, которая даже в благородной старости умудрялась находить себе любовников, всех, правда, из зеков. Зеки ненавидели Зинку. Зинку-бомжиху! Зинку-зассанку! Зинку-стерву! Так ласково ее звали любовники, которые, откинувшись с зоны, радовались ее однокомнатной квартире, где вся мебель была прожжена бычками. Яма, а не квартира. Там постоянно происходили драки и пьяные оргии, но соседи боялись Зинку и помалкивали. Были нехорошие прецеденты, связанные с ней, хотя не надо думать, что сея зло, она пожинала только добро. Ей тоже порой доставалась, и она

была бита, как всякий в этот мир пришедший. Но жизнь ее закалила, сотворила в ней особый норов, сила которого будет ясна ниже.

– Спирт есть отличный, – затараторила она. – Небось, выручку хорошую сегодня сделал-то, хочешь принесу?

Калека благодарственно кивнул головой.

– Кишки бы чем набить еще, с утра маковой росинки во рту не держал. Сухарь бы сожрал, или пачку лапши какой.

Китайская сухая лапша только входила в моду, ее предпочитали есть сухой, как чипсы, запивая чаем или водой.

– А у меня сегодня и литр спирта не разошелся, давай пару десятков, – старуха протянула руку.

Инвалид отсыпал ей мелочи. Крупные купюры забрали бандиты. Но мелочь они позволяли оставить себе. Зинка ушла за товаром, а Калека остался на какое-то время один. Холодало, он закутался в телогрейку, а голову прикрыл пледом. После чего принялся рассматривать могильное небо. Вдали над кладбищем тянулась красная полоса, с другой стороны надвигалась фиолетовая ночь. Вороны сидели на деревьях, они были сыты и уже не кружили над могилами. Сторож Иван Васильевич большой лохматой метлой убирал кладбищенские дорожки. Его впалые, небритые щеки горели огнем, он только что слегка принял и был бы рад догнаться. Краем уха этот сорокалетний мужчина услышал слово «спирт», и потому особенно усердно мел тропинку рядом с инвалидом в надежде, что и ему что-то выгорит. Он добывал еду и спирт подобно умудренному опытом охотнику, ни за кем не гонялся, а терпеливо ждал подходящего случая для броска. Так у него получалось заходить на чужие свадьбы, прикинувшись чьим-то родственником, или на толкучке, спокойно, не спеша, прятать в карман чужой, выложенный на прилавок, товар. Он даже никогда не убегал, с каменным спокойствием наблюдая, как суетится мир вокруг него.

Вскоре вернулась Зинка с большой, грязной, вязаной сумкой в руках.

– Вот тебе мой касатик, лучший спирт.

Она достала из сумки бутылку из-под пива, наполненную белой жидкостью и туго заткнутую газетной пробкой.

– Если тебе еще захочется, ты говори, может, и брату твоему надо. Дешевле спирта тут не найдешь. Тут тебе еще пару яичек из дому и кусок ливерной колбасы. стакан-то нужен?

– Спасибо, имеется.

Ловким движением руки Калека достал из-под коляски граненый стакан. Дыхнул в него и сказал весело:

– Наливай!!!

Зинка достала из сумки газетку, постелила ее на ноги Калеке, и разложила там нехитрый стол. Порезала колбасу и тоже достала стакан.

– Выпью с тобой, милоч. Домой идти не хочу, мой кабан опять нажрался, а ты знаешь, он когда пьяный – дурак дураком. Уж я его и сковородкой била, и посылала, и милицию вызывала, только бы рожи его уголовной не видеть у себя. Не уходит, и все. Человеческого языка не понимает он.

– Конечно, куда же он пойдет, ты его прикормила, – улыбался инвалид.

– Припоила, точнее. Раньше он хоть работал, за спиртом ходил, да и сам приторговывал, а теперь проку от него никакого. Еще бы мужиком был, и то ладно!

Она похотливо засмеялась, от этого смеха Калеке стало не по себе, не каждый готов к тону пошлости, не каждый пропустит его в душу. Тут Зинка огляделась по сторонам и заметила голодные глаза Ивана Васильевича. «То, что надо» – подумала она.

– Слышь, прохиндей, у тебя сторожка свободна? – помахала она ему рукой.

– Апартаменты – высший класс, – отвечал радостно Иван в хорошем предчувствии. – Лучше только у Ежевики в склепе. Но там убранство не про нашу честь.

– Ну пойдем, покажешь свои апартаменты, – отвечала она. – Только помоги безногому, он сам-то не справится, чего нам мерзнуть, выпьем по-людски.

Иван бросил свою метлу в сторону, выдавая свое состояние, но потом одумался и спрятал ее в канаву, затем выбежал за калитку, схватил за ручки кресло Калеки и повез его в сторожевую будку, за ними неуклюже ковыляла старуха. Плешь знал про эту сторожку и что там иногда выпивают бродяги, потому он без труда найдет своего друга, думал Калека.

Троица быстро добралась до нужного места. Сторожка представляла собой небольшой одноэтажный домик с косой крышей, засыпанной сухой листвой. Он стоял на небольшом возвышении, и его единственное мутное окошко выходило как раз на кладбище. Отсюда сторож следил за вверенной ему территорией. Тут, бывало, он и жил неделями. Иван когда-то был военным, прапорщиком, успел жениться и вырастить двоих детей, но потом попался на воровстве в части и, чтобы умять скандал, быстренько уволился. Лишившись военной карьеры и работы, он начал много пить. Если раньше в армии его еще хоть что-то удерживало от бутылки, хотя бы еженедельные проверки начальства, то сейчас он был полностью предоставлен сам себе. Он пытался вернуться в армию чуть позже, но к тому времени армия перестала существовать. Точнее, та армия, к которой он привык. Кое-где еще сохранились гарнизоны, но они более походили на феодальные островки, нежели на российскую армию. Их феодализм заключался в том, что каждая часть выживала сама по себе, на какое-то время она была лишена всякого довольства и всякого контроля со стороны Москвы. Но это отдельная, грустная история.

Друзья пристроили его на это кладбище сторожем, и тут он мог тихонько, никому не мешая, спиваться дальше. Детям до отца-синяка не было никакого дела, а его жена была только рада, когда он уходил в запой на неделю и не возвращался домой. Изредка, когда ему промывали кровь, он как будто о чем-то задумывался, возвращался в семью, но потом начиналось все снова.

Лицо его было изрыто морщинами, щетина короткая, но грубая, слегка поседевшая, разговаривал он хрипло, но нагло, любил армейские анекдоты и байки. Но как бы он ни пытался казаться веселым, было понятно, что человек этот полон грусти и нервозности, он лишь привык маскироваться, чтобы в компании получить свое. Чтобы с ним было приятно выпивать. Но при первой же возможности он старался остаться один, удалиться от людей в сторожку и там уже выпивать в угрюмой тоске.

Зинка и Иван зашли в сторожку, кое-как затащили с собой Калеку и подкатили его к деревянному засаленному столу. Обстановка тут была скудной: стол, пара табуреток и лежанка, накрытая старым одеялом. На стене висела икона с Богородицей, рядом с ней пара метел, большой совок и снегоуборочная лопата. Калека с удивлением рассматривал небольшую черно-белую фотографию в рамке, которая стояла на столе. На ней были запечатлены четверо молодых людей в белых халатах. Они размахивали какими-то бумагами, а лица их выражали большую радость.

– Че уставился, как баран на новые ворота? – Иван перевернул фотографию изнанкой, чтобы никто не смел посягать на святое. Этот невольный и немного резкий жест показывал, как в дряхлом теле живет еще страдающая душа, хранит еще свои тайны, опекает свое прошлое.

– Не первый раз вижу, кто это? – подивился Калека.

Иван достал стакан, вынул откуда-то соленый огурец, молча порезал его и сказал:

– Сначала выпьем.

Они разлили спирт по стаканам и, не жмурясь, опорожнили их. Инвалид закусил ливерной колбасой и, ощущая, как по телу разливается тепло, довольно причмокнул. В голове кружилась мысль: «Понеслась, родимая»!

После стакана спирта Иван подобрел.

– Никогда не запивай эту гадость водой, – поучал он, подставив кулак ко рту и рефлексивно кашляя. – Если бы я в армии запивал, давно уже без кишок бы остался.

– Да какое у тебя здоровье, хрен ты старый, – засмеялась беззубым ртом Зинка. – Кровь промывает раз в неделю, а о кишках своих думает! Через год тебя уж сторожить тут будут.

– Дура ты! – заорал он на нее. – Что несешь?!

И они начали ругаться, правда, не по-настоящему, просто так принято. Пока они ругались, Калека перевернул фотографию и снова начал рассматривать ее. Молодые люди в белых халатах, четверо. Один из них был похож на Ивана, только молодой, счастливый, и лицо такое наивное, такое безгреховное, чистое. Да, точно, Ивашка и есть. Когда смотришь на старые фотографии, если у тебя есть воображение, то невольно поддаёшься какому-то трансу, тебя затягивает в прошлое. Он увидел молодого Ивана, который учился, радовался, мечтал. Совсем другой Иван жил в совсем другой стране. Сам Калека не любил фотографии, они казались ему ужасными отпечатками прошлого, от которых душа начинала ныть.

Разлив еще немного спирта и выпив его, напарники перестали ругаться. И тут Иван снова заметил, с каким интересом инвалид смотрит на фотографию.

– Нравится? – спросил он, доставая сигарету.

– Расскажи, – потребовал Калека.

– Ну и расскажу. Я это с моими друзьями. Видишь, вот Митька, хирург. За границей работает. Вот Петька, тоже хирург, в милицейской больнице начальник сейчас. Вот Азимут, скотина та еще! В общем, просто скотина. А вот я. Видишь, какой был?

– Красавец, – подтвердил Калека. – Лицо сияет.

– А то, – Иван выпустил облако дыма. – Это мы дипломы отмечаем, видишь, в руках их держим. Врачи мы, брат, врачи.

– И ты врач?

– И я, – он задумался. – Мог бы стать им, если бы армия не затянула. Сколько сейчас врач получает? Как в армию забрали, так я там и остался. Меня не карьера волновала, а то, что можно было со склада тащить домой. По-человечески зажил, а диплом врача можно было на помойку выкинуть. Но вот тогда... в то время, когда был пацаном несмышленным, мечтал стать врачом. Ума плата была. Не поверишь, людям помогать хотел. Звучит, конечно, глупо как-то, но чувствовал я... призвание, что ли.

Он плюнул прямо на пол.

– Женился, все не так пошло. В душе я врач. Интеллигент вшивый, значит. Любимая армия и жена, а еще сами знаете кто, сделали меня говном.

– Говном, – повторила Зинка.

– Вот уж не думал Иван, что ты хотел людям помогать, – искренне удивился Калека.

– Ага, хотел. Вот и осталось у меня две святыни, это воспоминание молодости, да Богородица. Я один раз украл в части какое-то барахло, домой принес, жена и надоумила меня, мол, оставайся в армии по контракту, домой таскай барахлишко. А врачом кому ты нужен? Молодой был, послушал ее. До сих пор ей простить не могу.

Потом он посмотрел на инвалида и сказал:

– В целом это, конечно, не твоего ума дело!

Он как бы дал слабину, рассказал то, чего так сильно стеснялся и боялся. Открыл миру что-то сокровенное, в то же время понимая, что ничего вызывающего и не говорил, ситуация до смешного банальная. В самом деле, кто-то в эти лихие годы опустился на дно, но ведь кто-то и поднялся. Внутреннее чувство стыда за свою слабость подняло со дна его души какую-то агрессию, которая и вылилась в эти грубые слова. Правда, считал это слабостью только сам Иван, который уже жалел, что повесил фотографию на стену. Казалось, фотография порождает

или пробуждает свой собственный эгрегор, обнажая его эмоции, похороненные в этом куске картона.

Старуха поморщилась на эту грубость, как будто съела лимон. Она могла простить самый грубый мат, но не прощала слабостей в мужике, так как свою душу давно заменила цинизмом. И хотя Иван нагрубил Калеке, слова эти предназначались старухе. Это был подсознательный посыл отчаянья, потому как он догадывался, что прожжённая бестия умеет колко смеяться над чужой душой за неимением своей.

– На кой черт мне еще два алкаша сдались, своих девать некуда, – злобно сверкнула глазами Зинка.

Они налили и выпили еще. И часто, как это бывает, разговор перетек в русло житейской философии о насущных проблемах, но в этом разговоре и кроется наивная, как дитя, мысль. Такая наивная, что ей можно было бы и не придать значения, о чем только не болтают пьяные? Но позже раскроется вся важность этого пьяного разговора.

Иван дал Калеке сигаретку. Инвалид глубоко затянулся и в блаженной задумчивости выдул сизый дым. Потом начал рассказ:

– Мне Плешивый рассказывал, жил да был один зек. В тюрьму попал ни за что. Просто так посадили его.

– Ага, – перебила его старуха. – Знакомая песня...

– Да ты послушай. Плешь не врет. Был такой зек, засадили его несправедливо, невиноватый он был, но ходку свою воспринял как знак свыше, смирился с ней. Зону называл школой, а тех, кто его бил – учителями. Уж вертухай его учил уму-разуму, мужики его учили, черные его за клоуна держали, а он только благодарности сыпал в ответ. И такой характер у него в тюрьме стал добрый и набожный, что многие стали к нему чуть ли не на исповедь ходить. Полюбили его зеки. В общем, неожиданно стал он чуть ли не в авторитетах ходить. Хоть и не вор, а уважение к нему было большое. И пообещал он людям, что как срок окончится, на воле построит приют для бомжей, проституток, воров, алкашей и наркоманов. И будет за всеми ухаживать и всех любить, как отец любит своих детей.

– Слышал я, что американцы такие притоны делают в России, – пожал плечами Иван.

– Это совсем другая история. Все эти приюты куплены, все они просто барыш для кого-то, очередная кормушка. А этот зек, выйдя из тюрьмы, построил настоящий приют, большой, чтобы всех вмещал. Денег ему воры и дали, ибо понравился он идеей своей сильным мира сего. Они ведь тоже боятся упасть, чувствуют, что в любой момент сами с сумой по миру пойдут. В общем, ушел этот зек в леса, в пустыни и построил что-то вроде монастыря, только не на религиозной почве. Все в этом мире рано или поздно покупается и продается. И зек этот тоже боялся, что придут злые, темные люди и сделают из его монастыря балаган. И тогда зеки в 1992 году между собой подписались под негласный договор, что монастырь этот не будет крышеваться, ни один урка не будет пакостить. А тех, кто попытается это сделать, ждет смерть. В общем, по понятиям все стало. Но, чтобы избежать соблазна, чтобы обезопасить святое место, те, кто туда вхож, приносят страшную клятву, что под страхом смерти не выдадут его координат. Бродяги, нищие, шлюхи, все, кто там бывал, помалкивают об этом. Там ведь житье райское, многие и уходить не хотят, так и остаются там навсегда. В общем, это то самое зимовье, о котором я мечтаю. Чем вам не светлая мечта? Понимаю, что сказка, но ведь красивая же!

– Ерунда какая-то, – почесал небритый подбородок Иван. – Ну и что же в этой ночлежке хорошего, кроме того, что она халявная?

– Ну, то, что она халявная, уже делает это место святым, часть общака идет на ее спонсирование, потому там халявная не только койка, но и еда. Ешь, что хочешь, пей, что хочешь. И это тебе не спонсорство, не отмыwanie денег, не закулисная возня, не политика. Никакого подвоха. Только алкоголь и наркотики там запрещены. Люди живут коммуной. Все друг другу помогают. Был ты распоследним вонючим бомжом, был ты мокрушником, да хоть петухом,

а там становишься братом. К тебе как к человеку все относятся. Ты представь только, что есть место, где прощаются все грехи, где нет никакой масти, где по негласному сговору дружат непримиримые начала. Статус кво. Ты понимаешь, что такое быть человеком?

Иван замолчал, хотелось сказать что-то гадкое, колкое, но язык не поворачивался. Даже Зинка, которая никогда не лезла за словом в карман, решила не язвить.

– Вот ты Иван, хранишь фотографию своей молодости не просто так, ведь чувствуешь, что человеком был. Сам вот и говоришь, что стал говном. А я бы не отказался найти это место и зиму там провести. Хотя бы зиму. В тепле, в уюте, сытым. Не слышать нашей ругани, не видеть эти бесконечные драки, не видеть эти унылые морды, чьи сердца полны злобы. Не видеть этой бытовухи, где родители дерутся с детьми, воруют на работе, или сидят на пособии.

– Такое невозможно, – не выдержал Иван. – Утопия. Чем же там это коммуна занимается? Ты только представь себе, столько народу, и все целыми днями только и делают, что братаются да обжираются! А кто будет работать? Кто будет хлеб добывать?

– Работают, наверное, – пожал плечами Калека. – Работают, как и все люди.

– Да ни один вор работать никогда не станет, у них же понятия. Да и бомжа заставь работать! Ты меня сможешь заставить работать?

– А у нас никто не работает потому, что власть воспитала нашего человека так, что работа как рабство принимается, труд неуважаем. Ты вкалываешь на нашу страну, сохнешь, а чиновники сидят себе в кабинетах и жиреют. Тут никто работать не захочет. Но если ты действительно видишь, что труд твой не пропадает просто так, что труд твой нужен людям и делает счастливым брата твоего, и что труд твой действительно благороден и никто не смеется над твоим трудом, никто не стремится у тебя отнять твое добро, никто не стремится разжиться на тебе, то труд становится в радость. Понимаешь, там даже матерый волк берется за лопату, ибо все понятия становятся ненужными, когда вокруг тебя бывшие авторитеты трудятся. Кто плотником становится, кто фермером.

– Красиво запел, – Иван плеснул еще спирта в стаканы. – любо-дорого слушать. Ну, ты рассказывай дальше, а я помечтаю.

Все трое собутельников уже порядком опьянели и, хотя они не верили не одному слову Калеки, слушать его было приятно. И хоть диалог получался глупый, но, бывает, и трезвые люди ведут не менее глупые беседы.

– А что же там со шлюхами становится, – спросила его Зинка. – Неужто каждой бляди ручки целуют?

– Может и целуют, – продолжал свой рассказ Калека. – я ведь не блядь, не знаю. Но женщину там боготворят, женщина – это мать, она надежда человечества. К ним никто не лезет, никто не просит. Там нет похоти.

– А как же прописка? – удивился Иван. – Менты-то такой балаган точно разгонят.

– А менты не знают про это место. Говорю же, все это большой секрет. Вы с трудом мне верите, я и сам не поверил никому, но это мне рассказал Плешь, а ему я верю. А менты думают, что это все байки. Да и ментов не интересуют те места, где барыша или навару нету. Нет денег, нет бед. Нет богатства, нет бед. Нет золота и серебра, нет бед. Там же нет бизнеса, крышевать никого не надо. Никого не надо пасти. Навара взять не с чего. Там нет купюр, нет долларов. Нет наркоты. Нет бухла. Место это за городом, и оно никому не мешает.

– Хорошо, – отвечал Иван. – Но по мне так жизнь без бухла – и не жизнь вовсе. Уж лучшедохнуть с голоду, но бухать.

– Лучше как собаки подышать тут по синьке? – удивился Калека.

– Нажрался уже, – вздохнула Зинка.

Она встала, выпила на посошок глоток спирта и закусила его колбасой.

– Гонит твой Плешивый.

Иван понял, что старуха покидает их, он вскочил на ноги и с какой-то унижительной покорностью опустил голову. Прощался.

Она пнула ногой трухлявую дверь и, довольная собой, пошла к калитке. Иван бросился за ней, то ли спирта еще выпросить, то ли калитку открыть. Калека остался один, взял со стола недокурный бычок и с удовольствием затянулся. Плешь действительно задерживался, такое редко случалось, хорошо, если менты повязали, а то ведь мог и сам пропасть. Про этот приют, возможно, он и выдумал многое, скорее всего, все это ложь, но лично он лучше будет верить доброму слову, даже если оно ложь, чем верить злomu, но правдивому. И пусть друг его врет, он за его ложь горой стоять будет. Тут ведь дело было не в поиске правды, иной раз ее стоит не искать, а самому придумать эту правду. Калека, конечно, тоже многое домыслил сам, что-то напридумывал, что-то действительно услышал.

Минут пятнадцать Иван где-то отсутствовал, потом неожиданно появился на пороге сторожки и, шатаясь на ногах, победоносно вскричал:

– Дала, стерва!

В руках он держал еще одну бутылку спирта.

– В долг, правда. Но дала.

Он присел рядом с Калекой, плеснул жидкость по стаканам, но потом его взгляд упал на стол. Вся закуска была съедена. Тогда Иван открыл ящик стола и из темноты извлек небольшую пачку сухого кошачьего корма.

– Не брезгуешь? – улыбнулся он.

– Я-то? – Калека удивился. – Чего мне брезговать... Ты тоже, брат, не побрезгуй, в туалет мне надо.

Иван вопросительно посмотрел в глаза инвалиду.

– Проклятье, – выругался он.

Майорка стал авторитетом не сразу. Многие проходят сначала малолетку, успевают хлебнуть горя, получив урок цинизма и мощную прививку против государственности и власти. Начинают с мелочи, драк, хулиганства и мелкого воровства, попадают по глупости. Если воля железная, идут вверх, если слабая – вниз, если плывут по течению, становятся мужиками. Наш герой сделал карьеру, после того как попал в 13-ю колонию строгого режима. Зона эта находилась на окраине города Хабаровска рядом с поселком Матвеевка. Раньше это была колония общего режима, но Майорка попал туда во времена великих перемен, когда в эту колонию начали завозить со всего Хабаровского края тех, кому был прописан строгий режим, а это была не лучшая компания. Потому начинающему свою карьеру вору первое время пришлось туго, тем более, что попал он за изнасилование, мягко говоря, статья не самая лучшая. С такой статьей старались не высываться. Хабаровских тут не любили, считая, что раз они на своей земле, то и привилегий у них больше, мол – все они прибалтненные. Менты тоже не любили Хабаровских, так как на своей земле им было легче строчить жалобы на волю, легче находить поддержку у родных и близких.

Первое время Майорку мусора беспощадно били. Они хотели, чтобы он работал на лагерное начальство, вставал на путь исправления. Менты то и дело вызывали его к себе на беседы за чашкой чая, и это очень не нравилось зекам, которые подозревали его в самом худшем. Если с тобой пытаются завести дружбу начальники в погонах – это уже преступление, хотя жертва, попавшая в эти сети, по сути своей невинна. Все это сделало его нервным, агрессивным, пару раз он кидался на надзирателя, за что получил определенное уважение одних и ненависть других. Его удача состояла в том, что ему не намотали новый срок за нападение. Впрочем, не стоит думать, что менты и наш герой были врагами до гроба. Чаще всего они просто играли свою роль, и в то, что это игра, пусть и жестокая, можно было поверить по таким эпизодам:

стоило Майорке отпустить хорошую шутку другому зеку, как проходивший мимо вертухай, случайно услышавший ее, начинал смеяться вместе с заключёнными. Искренний смех скидывал с них театральные маски, возвращал к началу начал. Но антракт был недолгим, и они снова возвращались к своим ролям.

Положение Майорки становилось все хуже и хуже день ото дня, но не было счастья, да несчастье помогло.

По-хорошему договориться с ним милиции не получилось, и тогда ему почти случайно отбили почки, после чего к полуживому зеку пришел майор, осмотрел и решил забрать в сангородок. В сангородке отлеживалось множество местных авторитетов, с которыми за игрой в карты он очень быстро нашел общий язык, именно там он и познал все мудрости воровской жизни, все ее правила и порядки, приобрел нужные знакомства, возмужал и окреп, там же он и получил свою странную кличку – Майорка, производное от его фамилии.

На свободе Майорка любил выпивать с братвой, любил спорить, любил быть авторитетом для молодых школяров, которым еще предстояло сесть. Он собирал вокруг себя множество молодежи, разъяснял им, как жить правильно, по понятиям, чтобы люди тебя уважали. Отожествлял вора со святым, и, проповедуя среди детей и подростков зоновскую жизнь, был похож на святого. Часто возводил руки, будто хотел обнять паству свою, наказывал провинившихся и давал звания подхалимам. Он как великий Доминик обращал еретиков в истинную веру. Молодёжь сплотилась вокруг вора и росла его воровская секта.

Он проводил общаковские стрелки, и каждый раз видел новую паству среди еще зеленых, непуганых детей, которые уже стриглись налысо и учились сплевывать сквозь зубы. Всех его темных дел не перечислить, всех грехов не пересказать. Тем не менее Майорка никогда не работал, как и подобает уважаемому человеку, никогда не брал себе чужого в смысле того, что принадлежало братве, никогда не распускал рук по пустякам, не провоцировал, не задирали, не имел своего имущества. И, если честно говорить, то давно уже не воровал и не грабил, а жил за счет своей паствы, которая воровала, грабила и щедро скидывалась на общак. Малолеток ловили, сажали, но стараниями воров в девяти случаях из десяти выпускали на волю. Каждый год государство придумывало какую-нибудь амнистию, искало способы избавиться от заключенных. И сотни зеков возвращались в воровские ряды, сбивались в стаи и делили город. Одни охраняли вокзал и грабили приезжих вместе с цыганами, другие, наглея, лезли в самые поезда, пробегали по вагонам, брали дань, и в тот же день пропивали ее. Малолетки грабили людей, сидящих подле рынков со всякой мелочью с попустительством взрослых. Взрослым был дан тайный прогон – брать дань со всех, кто торгует рядом с рынками, а не на самих рынках. В том был мелкий, но чрезвычайно подлый сговор русских и армян. Продаешь картошку? Плати. Не можешь заплатить, малолетки будут опрокидывать твой товар на землю.

В целом, благодаря таким людям, как Майорка, ворами удалось невероятное. Они контролировали весь Дальний Восток, во всех его областях творилась власть воровская. Без одобрения Комсомольска-На-Амуре тут не мог появиться ни один залетный бандит. Под контролем были многие предприятия, торговля машинами, лесной и рыбный бизнес.

Майорку эта адская кухня вполне устраивала. Как человек предусмотрительный, он знал, что так долго продолжаться не может, рано или поздно либо посадят, либо организм дальневосточный окончательно сам себя съест, и не будет Дальнего Востока. Посадить-то всех не посадили, скорее, расстреляли, но это уже другая история. В такой вот кухне, достойной бандитской истории города Чикаго, закалялась душа зека.

Но была у Майорки большая слабость, об этой слабости никто не знал и не ведал. Берег тайну суровый зек пуще своей жизни. Он видел в жизни много горя и боли, много несправедливости, и это сделало его толстокожим и равнодушным. Но пять лет назад сердце его растаяло. Родилась у Майорки маленькая дочка от случайной связи, и грозный, угрюмый, беззубый зек, увидев этот живой, улыбающийся и тянущий к нему ручки плод, тронулся умом. Девка

бросила ребенка возле какого-то притона, где хозяйничал Майорка, и сбежала жить в деревню. Ребенка заботливый папаша забрал себе, снял квартиру, нанял няню и решил во что бы то ни стало вырастить. Каждую неделю он приходил к ребенку, маскировал свои наколки, забывал обо всех понятиях и делал то, что делает всякий заботливый родитель. Девочку назвали Аней.

Толстая, рябая домохозяйка не знала, кем является Майорка, если бы она узнала правду и проболталась об этом, возможно, он бы убил ее. Такая забота не укладывалась в воровские понятия, вор имеет лишь воровскую семью и достоин лишь воровского счастья, а оно вне человеческого понимания. Конечно, за дочку никто бы не стал его убивать – в 90-е, когда воровской закон стал претерпевать огромные изменения, возможно, его бы даже не лишили воровского сана и закрыли бы глаза на то, что дочь от шлюхи, но авторитет его бы пошатнулся, и неизвестно, к чему это могло привести.

Любовь – это большая слабость, ведь надавить на человека можно лишь через то, что вызывает у него большие эмоции. Припугни зека расправой над его любимым чадом, вот и станет он ласков с тобой и обходителен. Все что ценно тебе, береги пуше глаза, никому не рассказывай, люби молча. Он этот урок отлично выучил еще в Матвеевке, когда пускали по рукам понравившуюся ему девочку.

Девку же, бросившую ребенка, Майорка нашел быстро. Она поселилась в какой-то обезлюдевшей, разоренной деревне, коих на дальнем востоке в 90-е годы возникла тьма. Она там успела сесть на шею какому-то «колхознику», с которым быстро и безостановочно спивалась. Чтобы понять ее поступок, нужно принять и тот факт, что времена меняют нравы. Женщина та была детдомовской, в чем и состояла ирония. На словах она, конечно, беспокоилась за ребенка, подражая общечеловеческой морали, но всегда находила себе какие-то оправдания для своего поступка. Да так находила, что иной слушатель начинал жалеть не ребенка, а ее.

Поскольку она знала тайну Майорки, он ее убил, пощадив, однако, ее мужика, который все равно не разбирался в происходящем. Изначально он не планировал убийства, лишь хотел убедиться, что тайна его останется тайной, но глупая пьяная баба стала над ним смеяться и шантажировать. Вспомнив все свои женские обиды, она, не думая, решила проявить свою женскую власть. Майорка хотел ее поугаить, достав нож, и, как это часто бывает, она не испугалась, а лишь подзадоривала его. «Достал – значит, бей» – прошептал он себе под нос и с большим сожалением пошел на мокрое дело. Нож легко вошел в мягкое тело, но с трудом из него вышел, как будто тело не желало отдавать металл, жадно обжимая холодное лезвие. Руки его затряслись. Одно дело в драке и мужика, другое дело пьяную, глупую бабу. Но выпив стакан водки с трясущимся от страха «колхозником», он быстро пришел в себя. Если состояние Майорки вскоре пришло в норму, то «колхозник» еще долго дрожал, ощущая убийцей себя, а не бывшего хахала мертвой подруги. В то же время он ощущал себя убитым, перед его глазами стояла картина воткнутого по рукоятку ножа, и он чувствовал медный привкус крови, как будто это его тело получило урон. Бандит приказал ему бабу утопить в проруби и помалкивать. Конечно, он знал, что этот алкаш не сможет долго молчать, потому нож пришлось хорошо вымыть, затем отдать его мужику, дабы тот отрезал кусочек огурца для того, чтобы закусить водку. Этот нелепый поступок на самом деле был весьма прагматичен и продуман. Закусив, Майорка надел на руку пакет, взял нож и вышел из избы. Позже он выкинет его в деревне на видном месте.

В душе вора Майорки удивительным образом добро пересеклось со злом, он оставался свирепым, хитрым уголовником, и вместе с тем нежным отцом. Если вам удавалось увидеть хоть раз, как волк играет с волчатами, вы поймете, что аналогия очень точная, хотя и поверхностная.

Однако о его слабости вскоре узнали враги.

Милиция, чтобы выжить в то время, вынуждена была содействовать с группировками, а часто и вовсе чуть ли не напрямую подчинялась бандитским кланам, коих было совсем

немного. Все бандитские кланы в той или иной степени были частями одной машины, одной системы, центр которой находился в Комсомольске-На-Амуре. Запад России, погруженный в свои проблемы, связанные с развалом страны, не мог помочь периферии, структура государственной безопасности перестала существовать, а новая не успела образоваться. Все это привело к тому, что бандиты всех мастей и расцветок стали получать от милиции множество секретной информации.

И милиция усердно капала на бандитов, чтобы по тем или иным причинам слить ее другим бандитам. Не надо думать, будто воровская стая сплоченная, крепкая и дружная, ей не чужды законы конкуренции. Тут есть свои внутренние разборки и конфликты. Тут так же делают карьеру и идут по головам. Притворно пожимают руку и радуются неудачам ближнего. Любая конструкция стремится к хаосу и инволюции.

Благодаря милицейской наколке кое-кто из воров узнал о дочке Майорки. Эта информация в умелых руках была хорошим рычагом.

И повод применить эту информацию как оружие вскоре нашелся. Когда настало время отправлять очередную порцию денег на общак, вдруг выяснилась большая недостача. А за такое могли полететь головы многих людей, а то и вовсе разразиться бандитская война. Подобные инциденты уже случались, когда один приближенный к общаку человек вложил часть денег в пирамиду и потерял их. Сумма недостачи была внушительная, и вскоре стало ясно, что так просто это дело не замять. Те, кто крал с общака, быстро поняли, что если не найти подставное лицо, им не отвертеться. Необходимо было подставить одно из колен механизма, а Майорка как раз занимался сбором средств на общак в очень доходном месте, на городском рынке подле дома профсоюзов, кроме того, Майорка не умел считать, грубо говоря, он был неграмотным, хотя и скрывал это, потому на него и решили повесить долг. Тут надо сказать, что неграмотность – явление отнюдь не редкое в наше время, как кажется; деревенский парень, попавший смолоду в тюрьму, естественно, мало задумывался о школе. Тем более, что такие вещи, как институт и высшее образование были еще не в моде. Еще жило в народе отвращение к интеллигентности и образованности. Такая социальная схема, как школа, институт, работа только начала зарождаться. Еще существовали фазанки и училища при заводах, вот они-то и были в моде. Пусть вор с трудом читал и считал, но у Майорки был и большой плюс, он жил по воровскому кодексу и это все знали, а значит подставить его будет не так просто. Вот тут и пригодилась информация о его любимой дочке.

Сначала почти ласково, по-братски провели они с ним несколько бесед, в ходе которых как бы ненавязчиво намекали, что он зажал определенную сумму денег, но хитрый Майорка сразу понял, куда они ведут, и сказал, что он все приходы и уходы денег записывает, есть документы и в нужный момент он сможет дать маляву в Комсомольск. Эти слова не понравились вора, и все последующие беседы проходили во все более напряженной обстановке. Кто-то сделал лживый донос, кто-то подтвердил его, и в очередной раз судьба отвернулась от вора. А чтобы он не смог оправдаться, ему начали угрожать расправой над его дочкой. И тот факт, что он скрывал ото всех наличие семьи, тоже негативно отразился на его воровской карьере. Хотя всем плевать, но все равно скажут, что не по понятиям, что если врал про дочь, то соврет и про деньги.

Неудивительно, что матерый вор снова полез в бутылку, стал более угрюмым и осторожным, часто срывался на близких, легко заводился, плохо спал. Его друзья по-тихому называли его параноидом, шутили о поехавшей крыше, и все как один старались держаться от него подальше. А он не мог никому рассказать о своих проблемах, о своем горе. Нужно было прятать своего ангелочка, спрятать дочь, но за ее квартирой установили слежку, и он это знал. Круг возле него сужался, он чувствовал, что на него началась охота. И его не тревожило предательство, он привык к нему, не было обиды на корешей, на тех, с кем когда-то братался, с кем выпивал. Он был способен предать любого из них точно так же. Ради денег, ради положения

и авторитета, из страха, и даже ради упавшего с дерева листочка. Предать в честь трехсот лет граненому стакану. Его брала злоба на собственное бессилие, которое еще больше выводило его из себя по причине его силы. Он не считал себя слабым. Он привык, что с ним считаются. Но был и еще один фактор, еще одна мысль, которая унижала его. Ведь он сам не раз влезал в интриги и аферы, чтобы с корешами кидать лохов, и вот его нарочито записывают в лохи. И не надо думать, будто ему легко было собрать братву и начать открытую войну, он вдруг осознал, что неожиданно у него не осталось сторонников. Даже те, кто знал правду, не хотели впутываться, а другим же было весьма удобно его подставить. Так даже среди сильных бывают слабые, и он им нежданно оказался. Из него все согласовано и сговорившись делали козла отпущения. Дело тут было не в том, что он попал в немилость к кому-то, просто сумма была велика и соблазнительна.

Чтобы разрешить конфликт, достаточно было отдать ворам документы о приходе и уходе денег, но без них он уже не сможет доказать свою невиновность и воровской мир наверняка его накажет за крысятничество. Его помощник, который калякал бухгалтерию, повесился у себя дома. Майорка понимал, что его убили. Но все выходило очень складно, скажут, что сам Майорка и заделал жмура, дабы замести следы.

Воры любят ходить в церковь, туда же стекается вся нечистая сила города, там пристанище калек и бездомных, всех воров и проституток, наркоманов, цыган и, конечно, вездесущих бабушек. Туда последнее время повадился ходить Майорка, ставил свечки всем святым, слушал монотонное бормотание батюшки, и много думал о своей жизни, сам не подозревая, как резко и неожиданно меняется его характер, как душа, уставшая от жизни воровской, ищет покоя.

Утром возле кладбища из милицейского бобика сильные мужские руки вытолкнули в канаву безвольное тело. Ни одна живая душа не видела этого. Стоял утренний туман, город спал, только редкие машины с шумом проносились мимо могил. Менты плюнули вслед доходяге, захлопнули дверь и дали газу.

В канаве было сухо и это вполне устраивало Плешь, тело его лежало в неестественной позе, у него не было сил перевернуться. Большие деревья раскачивались на холодном ветру. Синий пиджак человека был вымазан сгустками сухой крови, синие опухшие губы едва шевелились. С растрепанными волосами и небритой, поседевшей щетиной он был похож на тряпичную куклу. В какой-то момент он то ли потерял сознание, то ли просто уснул. Тело уже не ощущало боли. Его били и раньше, и не только менты. Он тоже кого-то бил. Чаще, правда, в юности, чем во взрослой жизни. Удары его тогда были мягкими, игрушечными. Ему казалось, что он всегда жалеет того, кого бил, что руки его в последний момент расслаблялись, кулаки разжимались и удары более походили на женские пощечины. Он жалел тех, с кем дрался, и ждал того же к себе, оттого часто нарывался на неприятности, ожидая сострадания в ответ на борзость. Он порой удивлялся жестокости, тому, что чужая рука не дрогнула, как его. Тому, что жалость не присуща его врагам, но присуща только ему.

Он еще был пьян, еще гудела голова, еще путались мысли. Когда он так сильно напивался и когда веселье проходило, когда алкоголь переставал быть наркотиком и становился просто ядом, отравленный мозг рождал вереницу ярких образов и грез. Это были почти видения, более красочные, чем жизнь, наполненные таинственным смыслом. Такие образы никогда не приходили, если он выпивал, но всегда являлись к нему в тяжелом похмелье. Вот и сейчас он увидел странный сон.

Плешивый находился в большом храме с высоким, разноцветным сводом, который держался на мраморных колоннах. Лучи света, искаженные фресками, падали на землю цветными пятнами. Он видел лики святых, строгие канонические образы, которые смотрели на него

с иконостаса. Святой престол и прилегающие к нему алтари, украшенные золотом и камнями. Все это место пронизывало его мистическим трепетом ушедших эпох. Как будто он путешественник во времени, которому разом открылись все эпохи, видения прошлого, войны и катаклизмы. Но это было ощущение прикосновения к мистерии, а не полное погружение в нее. Поскольку он не мог понять этого послания.

Тут свершались великие таинства Евхаристии. Отсюда душа плыла из бушующего океана жизни в тихую небесную гавань.

Но и притвор, и сам храм был заполнен разными людьми. Тут были люди всех конфессий и вер, всех национальностей и социальных статусов. Оттого сложно было понять, какую веру тут исповедуют, и исповедуют ли. Символы и образы, как это часто бывает в бреду, перемешались между собой. Египетские боги могли охранять парапет, вместе с тем на колоннах стояли херувимы. И было непонятно, то ли Плешивый летал духом в храме, то ли видел его снаружи. Он был и там и тут, он был везде, как и полагается духу.

Люди говорили на всех языках мира, были всех оттенков кожи, и звуки их голосов эхом неслись ввысь, туда, где на фресках изображались библейские сцены. И разные языки не мешали людям понимать друг друга, потому что были у них единые прародители, которые породили бесчисленное множество рас и племен. Были здесь и богатые дамы, наряженные в меха убитых животных. Были и более бедные уличные женщины, одетые в старые лохмотья. Были и уродливые, безногие, безрукие, кривые, старые, мерзкие и страшные. Были и вовсе кошмарные люди-химеры, трехногие, многорукие, шестиглазые. Были они из разных времен и разных стран. Были молодые девки с ужасными изувеченными лицами, их обнимали такие же разношерстные, странные и страшные господа с лицами важными и свирепыми. И вся эта серая масса гудела и смеялась, поедая мясо и упиваясь крепкими винами. В золотых чанах подавали им человеческие руки, ноги и черепа. Прекрасные пери, нимфы и русалки сидели в золотых клетках. На вертелах вместе с каплунами, рябчиками и прочей дичью были наколоты дети в неестественных позах, более походившие на молочных изжаренных поросят.

Красивых и уродливых, бедных и богатых объединяло одно – они все были безразличными ко всему миру. Безразличие в лицах, в повадках, в разговорах. Богатые были пресыщены и равнодушны, бедные изо всех сил подражали им.

Плешь услышал музыку одноногого горбуна, который играл на клавесине. И звуки клавесина были ужасны, диссонансы и тритоны неслись к самому своду этого проклятого места.

Внезапно из огромных дубовых дверей повеяло холодом, свечи на стенах задрожали, всколыхнулось пламя в закопченном камине, затрещали петли, двери отворились, и в залу вошел козел. Это было большое животное с длиной сваленной шерстью и желтыми кошачьими глазами. Рога у него были длинными, завитыми и острыми на концах. Он дышал жгучим паром, расходившимся в разные стороны. Весь вид его говорил о здоровье и силе.

Он встал туда, где диаконы читали евангельские и апостольские послания, на самый амвон. И если с него, по легенде, ангел возвещал о приближении Мессии, то козел был подобен ангелу, который будет вещать о приближении Антихриста.

Следом за ним вышли его слуги, достойные отдельного описания, и стали справа и слева от козла. Прекрасный рыцарь с хвостом змеи, верхом на лошади бурой масти, вышел первым. От него веяло силой и могуществом. Следом показался волк со змеиным хвостом, изрыгая огонь из своей алой пасти, усеянной острыми зубами, лев с головой осла, учтивый длиннородый старец верхом на крокодиле, с ястребом на запястье, птица-феникс с чудесным серебряным ангельским голосом ребенка, которая пела прекрасные песни, и множество других странных химер и уродов.

Всего вышло семьдесят два слуги.

Козел же смотрел на людей холодными глазами, выражающими железную волю и решимость, и в то же время спокойствие духа. Он был подобен льду и огню одновременно. Спокой-

ствие и энергия. Казалось, только Хронос, которого бояться даже боги, мог бы поколебать его покой.

Кто-то из людей поднес ему золотой кубок с вином, и козел принял угощение, как и полагается царю царей.

– Зачем все это? – немощно прошептал Плешь.

Козел повернул к нему свою морду и произнес:

– Они счастливы, разве ты не видишь, это род людской!

– Я не понимаю, – простонал он.

– Счастливы слепые – они не видят прекрасного и, не ведая о том, могут жить подобно червям, роясь в трупах. Счастливы жестокосердные и грозные – ибо мир принадлежит им. Счастливы глупцы – ибо глупость их оправдание. Счастливы больные – все сострадание принадлежит им. Счастливы слабые – вся добродетель принадлежит им. Счастливы убийцы – они вкусили крови. Счастливы трусливые – они схоронятся. Счастливы ростовщики – они откупятся. Счастливы лгуны – они оклеветают других. Потому увидишь их всех в раю. Это род человеческий!

– Я не понимаю! – прохрипел Плешь, упав на пол перед козлом.

– Род человеческий счастлив в грехе. Если все же что-то случится с ними, наступит их вдруг беда, они молитвами призовут моего отца, Господа твоего, и будут просить еще трупов, чтобы слаще было в них рыться, и Бог милостивый даст им шанс исправиться, потому они и далее будут клеветать, убивать, воровать и насиловать.

– А как же знание, как же наука, как же идеал!?

– Знание есть грех!

Так сказал козел, стукнув семь раз копытом о камень, с которого когда-то вещал ангел, высекая из него огонь. Он улыбался, смотря на то, как люди дерутся из-за куска курицы, из-за женщины, из-за вина. И всего бы хватило каждому, но почему-то не хватало...

Пришел в себя Плешь от странного сна или видения только тогда, когда кто-то начал громко молиться и причитать рядом с ним, то была одна из старух, что продают цветы возле кладбища. Ее молитвы хорошо сочетались с его сном, потому он не сразу понял, бред это или реальность. Она шла мимо канавы и подумала, что нашла покойника. Однако покойник открыл один глаз, чем еще больше напугал бабку.

– Живой, живой, собака! Алкоголик, синяк! – вздохнула она то ли с каким-то сожалением, то ли с раздражением.

Плешь хотел ей что-то ответить, но губы не слушались его. Язык еле двигался, а второй глаз так оплыл от побоев, что не открывался. Тут и пришла настоящая боль, от которой он громко застонал, но не смог даже пошевелиться. Бабка его узнала по синему пиджаку, но помогать не стала, а лишь перекрестилась и пошла дальше торговать цветами. Плешь часто засыпал со стаканом в руке в неестественной позе мертвым сном. В такие моменты его нельзя было разбудить даже ударами по лицу, потому все местные бомжи и бабки часто находили его валяющимся в канавах и скверах. В этом не было ничего странного или нового. Многие настоящие, профессиональные алкоголики, живущие одной ногой в могиле, знают, им легче общаться с духами, погружаясь в мир интуитивного. Даже белая горячка была своеобразным погружением, прикосновением к мистерии. Такие, как он могли страдать лунатизмом и нарколепсией, пробужденной постоянным отравлением мозга, но переживать это как откровение или чудо. Отравленный мозг не мог мыслить, и за него мыслило сердце, которому была чужда логика. Уснуть с сигаретой в зубах на полуслове, это было так естественно в этой среде.

Бывали и более сложные автоматизмы, своеобразный транс. Когда он напивался вусмерть, не помнил, что творил и где был. Но часто куда-то бежал, что-то важное пытался

успеть. Потом просыпался далеко от города в очередной канаве. Но в этот раз его еще и избили, и это не было бредом, он не так много выпил, чтобы все забыть.

Он бессильно закрыл глаза, и тут же погрузился в странные, бессвязные видения, которые kaleidosкопом проносились перед его взором. Он просыпался через каждые полчаса, когда его начинало тошнить, затем пытался тянуть руки вверх, как будто хотел к кому-то прикоснуться или кого-то звал к себе, но руки, едва отрываясь от земли, падали на землю. Потом делал губами сосущее движение, такие движения свойственны младенцу.

– Эк тебя, брат, уделали, – раздался чей-то добрый голос над его головой.

То был Калека с кладбищенским сторожем. Они добрую половину дня отсыпались в сторожке после вчерашнего, а ближе к обеду сильная жажда вынудила их отправиться в магазин на разведку. По дороге торговки цветами сообщили им, что видели их друга пьяным в канаве. Но друг оказался не пьян.

Иван спустился в канаву и осторожно приподнял Плешь от земли, тот легонько застонал.

– Потерпи, Плешивый, сейчас согреешься, водочки выпьешь, – почти ласково заговорил сторож.

– Кто тебя так? – беспокоился Калека.

Но Плешь не мог им ничего ответить, язык совсем опух, двух зубов не хватало. Иван взвалил его себе на плечо и бодренько выскочил из канавы на пыльную дорогу, тело его товарища было по-детски легким, кукольным. Под пронзительный и жалобный скрип инвалидной коляски они отправились в сторожку. Почти Святая Троица, жалкие ангелы, погруженные в земную пыль и тщету, они влачили свое существование, наполняя свои головы мелкими заботами. Бабки качали головами и цокали языками, провожая их недобрыми взглядами. Тошная, грязная болонка на всякий случай облаяла их. Ветер играл спутанными волосами Ивана и его ноши.

В сторожке Плешивого положили на кушетку и стали думать, как быть дальше.

– Ты же врач в прошлом, – взволновано зашептал Калека. – Вспоминай, что делать надо.

Иван достал полупустую, недопитую вчерашнюю бутылку водки, выдохнул, хлебнул немного из горла и сказал:

– Остатки оставим для Плешивого, для дезинфекции. Первым делом надо бы раздеть его.

Он аккуратно снял с Плешивого пиджак и бросил его под кушетку. Вся грудь была исполосована синяками, которые успели по краям пожелтеть. Высохшие струйки крови обвивали змеями сморщенную шею. Когда сняли штаны, то обнаружили ту же картину, ноги были похожи на сплошной синяк, к тому же местами кожа на бедрах была рассечена, из глубоких ран сочилась кровь.

Плешь в это время, похоже, снова отключился и осмотру не сопротивлялся.

– Вот падлы! – сквозь зубы сказал Иван. – Не знаю, кто его, но отделали на славу. Похоже, били или плеткой, или тонкой палкой, или стальной проволокой. Смотри, даже по голове били, весь затылок рассечен!

– Это работа Майорки, – мрачно заметил Калека, – Плешь ему денег должен.

– Может быть, – почесал голову сторож. – Майорка – зверь, конечно, но и менты не лучше. Могли и они отделать. Хотя те любят бить осторожно, опыт у них есть. Могли и малолетки, могли и местные. В любом случае, пока он не придет в себя, мы этого не узнаем.

После этих слов Иван отодвинул в угол инвалидную коляску, чтобы не мешалась под ногами, открыл стол и извлек на свет красную аптечку.

– Положено иметь. На кладбище всякое случается. Я ее и не открывал ни разу, видимо, настало время.

В аптечке они нашли аммиак, анальгин, раствор марганца, зеленку, стерильные бинты, вату и ножницы.

– Негусто, – сторож пошаркал рукой свою жесткую щетину.

Он взял бутылку минеральной воды, сполоснул в ней руки, протер их водкой, затем смочил ей вату и стал аккуратно обрабатывать раны. Затем наложил на них бинты и туго стянул.

– Деньги есть? – спросил он у Калеки.

Инвалид достал всю мелочь, которая у него была, и протянул Ивану. Тот пересчитал, сказал, что этого должно хватить, затем дал понюхать аммиака Плешивому, чтобы тот пришел в себя. Это средство мгновенно подействовало. Плешь пришел в себя, открыл один глаз, но говорить по-прежнему не мог. Сторож выскочил на улицу и отправился в аптеку.

Калека остался со своим другом.

– Я видел дьявола, – прошептал Плешивый так тихо, что Калеке пришлось нагнуться поближе к губам, чтобы разобрать его речь.

– Кого ты видел? – не понял он.

– Нашего создателя. Дьявола, он и есть Бог, и он никого не любит. Холод в его глазах, а мы – его отвратительная картина.

Калека осмотрелся по сторонам, увидел аптечку, достал из нее кусок бинта и смочил его водой, затем положил на лоб своему другу. Он был уверен, что у того бред. Но все это не помешало продолжать шептать свои откровения последнему.

– Если бы ты видел нас, людей со стороны, как видит он, ты бы сам стал жестоким, алчным, злым, циничным, беспощадным, лживым. Все те, чье сердце еще не ожесточилось – дети, так как не ведают мира. Если же сердце твое еще ласково, а ты не дитя, значит, в тебе есть сила противоречия, в тебе есть протест. И только благодаря одной этой силе ты можешь вопреки логике быть добрым, великодушным, самоотреченным, щедрым. Чтобы быть таковым, надо отрицать своего создателя, уметь ненавидеть его мир, презирать созданные им блага, отказываться от них и жить в страдании. Ненависть к миру это разве не сатанизм? Но уж лучше я буду сатанистом, чем полюблю всю эту органическую массу, которая бесконечно пожирает друг друга. Проклятый горбун, какие тритоны...

Калека грустно смотрел, как капли черной крови стекают со лба Плешивого на пол. Капля за каплей. Он с трудом понимал своего друга, вытирая испарину с его лба.

– Потому ты и кричишь по ночам, – прошептал он в ответ, – что тебе снятся кошмары. Бредовые кошмары. Ты уже начал путать сны с реальной жизнью, – ответил он Плешивому. – Иван поможет тебе. Он врач.

– Ты не понимаешь меня, мой друг. Бог никого не любит.

– Ну и что, ты, главное, люби хоть кого-нибудь, – ответил Калека.

– Себя? Бога? Кого любить?

– Как ты обозлился на силы высшие... Хочешь, люби Бога, даже если он мерзок и имя его вызывает тошноту. Потому что кроме тебя, никто не знает, как выглядит Бог. Кроме тебя никто не знает его настоящего имени. Кроме тебя никто не знает всех его дел. Он живет в твоей голове, и от этого не менее настоящий, чем я или ты. Ни один поп, ни одна вера, ни одна религия не знает столько о Боге, сколько знаешь ты. И если Бог злой, он злой в твоей голове. Сделай его любящим и сострадательным. Ведь Бог слушается только тебя.

– Я сделаю, – прошептал Плешивый. – Обязательно сделаю его таким, каким он должен быть. Обещаю.

Кому-то эти разговоры могут показаться неестественными, возвышенными, не от мира сего. Но как раз там, где кипят эмоции, рождается именно такой слог, откровенный, высокий и правдивый, по-своему эпичный. И я совсем не уйду от реальности и прозаичности, описывая этот разговор, я подчеркиваю реальность. Тем же, у кого нет сильных эмоций, тяжело поверить в естественность этой сцены, и в том лишь их беда.

Именно этот разговор и этот сон определил его дальнейшую судьбу и повествование моей книги. Новое понимание мира интегрирует новое сознание, которое рождает следствие, называемое роком. Только рок обычно сам ищет причину, в которой он должен воплотиться, как

будто следствие уже существует и ждет своего воплощения. Медленно и неуклонно, пока лишь в своем сознании, Плешивый шел к своему концу.

Вскоре вернулся Иван, вспоминая свою молодость, он принялся лечить бездомного. Зашил ему большие раны, а маленькие обработал водкой и перебинтовал. Его вердикт был таков – будет жить, но с неделю надо где-то отлежаться. И все бы ничего, но оставаться в сторожке у Ивана он никак не мог. Во-первых, не положено, а во-вторых, там была одна единственная лежанка, на которой спал сам Иван. Пришлось им обратиться к Зинке за помощью. За определенную награду та согласилась перенести доходягу к себе домой на семь дней.

Бабка Зинка имела советскую закалку и потому хорошо знала, за какие нити надо дергать чиновников. В целом вот таких старух боятся все госслужащие, потому что времени у них много, а злобы еще больше. Старухи пишут жалобы, работают на публику, нагло лезут во все газеты, апеллируя к общественности, они ратуют за собственные интересы. Зинка знала силу своей скандальной натуры, она каким-то чутьем чувствовала, где можно отжать кусок пожирней. Ее молодость пришлась на то время, когда за сворованную горсть пшеницы с колхозного поля могли расстрелять. В поле воровали еду, ели досыта, а если кто спрашивал, каким духом сыты, она была приучена отвечать – ела лебеду, потому голодная как собака! Такие жизненные истории научили ее плакать в нужное время, кричать, пускать пену, провоцировать людей на драку и становиться жертвой этой драки. Она знала все бесплатные столовки в городе, все дешевые толкучки, все организации, всех начальников, а ее знали во всех социальных службах. Когда ввели талоны на сахар и отпускали по килограмму на человека, она брала с собой всех окрестных бомжей, чтобы за их счет набрать сахару и из него гнать спирт. Когда не было мяса, она посылала рейды своих бесчисленных любовников заниматься охотой на собак. Она заставляла своего любовника пить и бесчинствовать, следуя, однако, закону, пока все местные менты не начали открещиваться от него, а местной администрации под давлением соседей пришлось умолять Зинку повлиять на него, чтобы он бросил пить. Так она выторговала новенький холодильник себе домой, заставив любовника целый месяц не пить после скандала. В молодости она лазала по форточкам, но в силу своего хитрого и циничного характера ни разу не попала на этом. Молодые ворята боялись с ней связываться, хотя реальных людей она не знала, но в силу своего характера, за крепким словом в карман не лезла и никому не подчинялась.

Мужики ее боялись и слушались, те же, кто находил силы орать на нее, долго не задерживались в ее жизни. Она часто дралась с ними, но всегда выходила победителем из любой драки, и, конечно, помогало ей в схватке не ее разменянное на бутылки здоровье. Сила ее была в лютой злобе ко всему живому, что хоть как-то не подчинялось ей. Она была своеобразной легендой этого города, можно даже сказать, его духом, хранителем его нравов и обычаев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.